

**ЛИЧНОСТЬ  
МОРАЛЬ  
ВОСПИТАНИЕ**

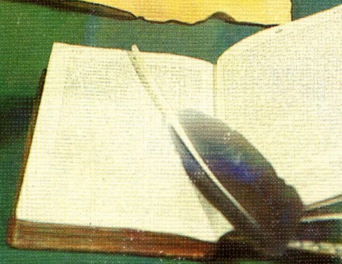
Серия художественных, публицистических  
и научно-популярных изданий

Франсуа де Ларошфуко

Блез Паскаль

Жан де Лабрюйер

**СУЖДЕНИЯ  
И  
АФОРИЗМЫ**





Франсуа де Ларошфуко  
Блез Паскаль  
Жан де Лабрюйер

**СУЖДЕНИЯ  
И  
АФОРИЗМЫ**

## СОДЕРЖАНИЕ

5	<i>Н. А. Жирмунская.</i> Предисловие
27	<i>Франсуа де Ларошфуко.</i> МАКСИМЫ И МОРАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. <i>Перевод Э. Ли- нецкой</i>
145	<i>Блез Паскаль.</i> ИЗ «МЫСЛЕЙ». <i>Перевод Э. Линецкой</i>
267	<i>Жан де Лабрюйер.</i> ИЗ «ХАРАКТЕРОВ, ИЛИ НРАВОВ НЫНЕШНЕГО ВЕКА». <i>Перевод Ю. Корнеева и Э. Линецкой</i>
365	Примечания



ЛИЧНОСТЬ  
МОРАЛЬ  
ВОСПИТАНИЕ

Серия художественных,  
публицистических  
и научно-популярных изданий

Франсуа де Ларошфуко

Блез Паскаль

Жан де Лабрюйер

СУЖДЕНИЯ  
И  
АФОРИЗМЫ

Москва  
Издательство  
политической  
литературы  
1990

ББК 84.4Фр  
Л25



**Ларошфуко Ф. и др.**

Л25 Суждения и афоризмы/Ф. Ларошфуко, Б. Паскаль, Ж. Лабрюйер; Сост., предисл., примеч. Н. А. Жирмунской.— М.: Политиздат, 1990.— 384 с.— (Личность. Мораль. Воспитание).  
ISBN 5—250—01380—5

Л 0301070000—230  
079(02)—90

ББК 84.4Фр

Заведующий редакцией В. И. Кураев  
Редактор С. И. Пружинин  
Младший редактор О. П. Осипова  
Художник А. И. Анно  
Художественный редактор П. В. Меркулов  
Технический редактор В. П. Крылова

ИБ № 8957

Сдано в набор 10.05.90. Подписано в печать 10.09.90.  
Формат 70×90<sup>1/32</sup>. Бумага книжно-журнальная офсетная. Гар-  
нитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ.  
л. 14,04. Усл. кр.-отт. 14,63. Уч.-изд. л. 12,24. Тираж  
200 000 экз. Заказ № 4895. Цена 2 р. 50 к.

Политиздат. 125811, ГСП,  
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Трудового Красного Знамени типография  
издательства «Звезда». 614600, г. Пермь,  
ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

ISBN 5—250—01380—5

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Моралистическая литература во Франции имеет глубокие и многоликие традиции. Она развивалась бок о бок с другими прозаическими жанрами — романом, новеллой, повестью, иногда на равных правах, иногда отступая на второй план, а порою и заслоняя в сознании читателей своих более эффектных и занимательных соперников. Сами слова «моралист», «моралистический» ассоциируются для русского слуха с проповедническим, правоучительным и неизбежно скучным чтением. Между тем литература, о которой идет речь, менее всего преследовала нормативные цели. Задача, которую она ставила перед собой,— познать человека во всей его сложности, раскрыть тайные пружины человеческого поведения, его психики и ее проявлений в общественном бытии. Разумеется, в конечном счете это должно было содействовать совершенствованию человека, его освобождению от пороков, но далеко не все моралисты придерживались такого оптимистического взгляда на результаты своей деятельности. Обращаясь к отвлеченным философским проблемам, моралистическая литература неизменно преломляла их сквозь призму человеческой личности, изображенной с большей или меньшей конкретностью,

приуроченной к условиям своей эпохи или взятой во вневременном, обобщенном плане.

Пробуждение интереса к нравственным вопросам не случайно падает на эпоху Возрождения: раскрепощение личности, рост индивидуального самосознания, попытка осмыслить себя в широком контексте общечеловеческого опыта, обогащенного знакомством с античностью,— все это послужило толчком к развитию моралистической литературы как самостоятельного жанра. Ему отдали дань писатели разных европейских стран. Но именно Франция, где исторически сменявшиеся формы государственной и социальной жизни получили свой классический облик, создала блестящие и наиболее ярко выраженные образцы моралистической литературы.

Жанровая природа сочинений французских моралистов XVI—XVIII веков достаточно емкая и разнообразная: от фрагментов огромного труда, универсального по своему охвату,— до лаконичного изречения, от портретного очерка — до анекдота, от диалогической сценки — до афоризма и парадокса. Конечно, этот широкий композиционный и жанровый диапазон, как и само содержание тех или иных произведений, определяются временем, условиями идейного и культурного развития, особенностями социума, в котором они создавались. И все же они образуют единство — оно обусловлено и преемственностью поставленных нравственных и общественных проблем, и общностью культурной традиции (прежде всего античной), и национальным литературным развитием. Все эти факторы — в разной степени и в разной пропорции — действуют на протяжении той исторической и культурной эпохи, границы которой

обозначены периодом позднего гуманизма (Монтень) и Великой французской революцией, современниками которой были Шамфор и Ривароль. Эпоха эта открывается в творчестве Монтеня острым ощущением переломного момента, подвижности, динамики развития общества в целом и отдельной человеческой личности, достигает расцвета в XVII веке (Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер) и завершается у Шамфора и Ривароля сознанием несовершенства старого мира с его нравственными устоями и укоренившимися предрассудками.

Каждый из трех периодов французской моралистической литературы — а они строго ложатся в хронологические рамки трех столетий — обладает своим выраженным идейно-художественным обликом, и вместе с тем можно без труда обнаружить переклички и схождения, иногда спонтанные, иногда сознательные, порой — полемические. Несмотря на совершенно очевидную прикрепленность к своему веку, суждения и афоризмы французских моралистов обладают общезначимым, общечеловеческим содержанием — такова двуединая природа этих жанров. Именно в силу этой своей особенности предлагаемые сочинения сохраняют способность воздействовать на наше современное сознание и, облеченные в безупречно отточенную стилистическую форму, продолжают выполнять свою изначальную задачу — раскрытие сложного мира, имя которому — Человек.

Подлинный расцвет моралистической литературы во Франции наступает во второй половине XVII века, в эпоху зрелого классицизма, когда национальная литература создает свои шедевры в самых разных жанрах. Одной из главных ее



черт является принцип обобщенного и до известной степени абстрагированного изображения человеческих характеров, страстей, пороков. Мы находим его и в сатирической комедии Мольера, и в высокой трагедии Расина, и в баснях Лафонтена, и в сатирах Буало. Этот принцип получил свое, пожалуй, наиболее последовательное воплощение в афористических жанрах — у Ларошфуко, Паскаля, Лабрюйера.

Все три автора многим обязаны творчеству Монтеня, хотя относились к нему по-разному — полемизировали, критиковали, а порою просто перефразировали. Но если содержательная сторона книги Монтеня «Опыты» явственно различима в их сочинениях, форма этой книги оказалась совершенно неприемлемой для литературных принципов XVII века. Неприемлема была ее свободная, на первый взгляд, хаотичная композиция, многословие, подчеркнутая субъективность изложения. Между Монтенем и писателями классической эпохи пролегла жесткая грань — сложившаяся уже в первой трети XVII века строгая регламентация литературных жанров и стилей, упорядоченность мысли, идущая от рационалистической философии, принцип самоограничения, обязательный для всякого, кто претендовал на звание писателя: самоограничения количественного — стремление к лаконичной форме, и качественного — отбрасывание всего случайного, второстепенного, единичного, тщательный отбор единственно адекватного слова и построения фразы. Таким образом, уже сама тенденция литературного развития в эпоху классицизма создала предпосылки для формирования афористических жанров.

Вершинным произведением, как это нередко бывает, предшествовала массовая литература, стоявшая, собственно, за пределами художественной: многочисленные — иногда безымянные, иногда компилятивные — сборники сентенций и изречений, принадлежавших третьестепенным, ныне давно забытым авторам. Постепенно увлечение сентенциями, пословицами, афоризмами становится модой, проникшей в аристократические салоны — важные центры культурной жизни столицы. Однако здесь дидактическая функция этих жанров была оттеснена занимательно-игровой. Разнообразные литературные игры, требовавшие спонтанной импровизации, быстрого ответа на заданную тему, немало содействовали популярности лаконичных жанров, их стилистической шлифовке. Параллельно с этим сентенции входят и в высокий жанр трагедии — особенно органично они вписываются в монологи героев Корнея.

Пристальный интерес к анализу внутренней жизни человека пронизывает всю французскую литературу XVII века. Ведущий классический жанр — высокая трагедия родилась как трагедия психологического и нравственного конфликта — в этом был секрет небывалого успеха «Сиды» Корнея. Дальнейшее углубление психологической проблематики происходит в трагедии Расина, во многом родственной «Мыслям» Паскаля. Эта же тенденция проявляется и в жанре, стоящем за пределами собственно классицистической литературы, — в галантно-психологическом романе, составлявшем излюбленное чтение аристократической элиты. В 1640—1650-е годы он достигает своего расцвета и предлагает читателям образцы утонченного, изощренного ана-

лиза любовных переживаний. И хотя диапазон изображаемых чувств ограничен, как ограничена и сама социальная среда этого романа, хотя форма вычурна и рассчитана на избранную аудиторию, романы эти сумели завоевать большую популярность и приобщить широкий круг читающей публики к размышлениям на нравственные и психологические темы.

В 1640-е годы некогда преимущественно литературные салоны аристократии превратились в центры политической оппозиции, которая в 1648 году вылилась в открытое выступление против королевской власти и министра кардинала Мазарини — Фронду. Именно здесь складывались непрочные политические и военные союзы будущих фрондеров, которых связывала кратковременная общность интересов и разъединяли соперничество, зависть, взаимное недоверие. Здесь формировались высокие идеалы чести, гордости, мужества, далеко не всегда выдерживавшие проверку реальными жизненными отношениями и обстоятельствами политической борьбы. Это и была та среда, которая окружала Ларошфуко в период его активной политической жизни. Когда отшумели события Фронды, обнажившие подлинную моральную сущность многих ее главарей, Ларошфуко, разочарованный и отошедший от политики, попытался осмыслить свой жизненный опыт сначала в «Мемуарах», а потом в «Максимах». На этот раз он нашел единомышленников в социально и духовно близкой ему среде — в камерном мире салонов нового типа, которые в 1660-е годы уже не пытались вмешиваться в политическую жизнь и ограничивались сдержанной оппозицией в вопросах нравственных и художественных, со-

храняя дистанцированное и критическое отношение к новому двору молодого короля Людовика XIV. Здесь Ларошфуко читал и обсуждал свои «Максимы», здесь, возможно, многое почерпнул для них (например, знакомство со сборником афоризмов испанского писателя Балтасара Грасиана «Обходительный оракул, или Искусство осторожности», 1647; во всяком случае, основная идея этого сборника обнаруживает большую близость с общей концепцией «Максим»).

И все же, хотя культура устного общения высоко ценилась в салонах и достигла там подлинного мастерства, «Максимы» не были рассчитаны на спонтанное восприятие на слух. Они были с самого начала задуманы как произведения письменные, литературные. Их творческая история, многократные переделки и исправления от издания к изданию лучше всего говорят об этом.

Мысль Ларошфуко-писателя двигалась от конкретного к абстрактному: от «Мемуаров» — к «Максимумам». Дух анализа, метод «разделения трудностей», провозглашенный Декартом в «Рассуждении о методе» (1637), к этому времени был прочно усвоен и философами, и писателями. У Ларошфуко он проявился в разграничении материала и форм его воплощения. То, что у Монтеня давалось в синтезе и с трудом поддавалось расчленению — общая истина и подтверждающий ее конкретный случай, — у Ларошфуко обрело четкие жанровые границы: «Мемуары» повествовали подробно и точно о событиях и определенных людях, хотя и содержали их характеристики и оценки, «Максимы» полностью отвлекались от конкретных лиц, и

лишь знакомство с «Мемуарами» и другими биографическими материалами позволяет в единичных случаях установить те или иные прототипы.

Отличительное свойство книги Ларошфуко — ее внутреннее и формальное единство. Содержательное единство «Максим» определяется общей концепцией человека, которая несет на себе печать скептицизма и горького разочарования. Ларошфуко последовательно развенчивает привычные идеалы доблести, бескорыстия, смелости, великодушия, вскрывает их показной характер. Истинная пружина поступков, которые преподносятся как акты благородства и любви к ближнему, — себялюбие и своекорыстие. В обществе царят фальшь и взаимный обман: «Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос».

Ларошфуко неустанно напоминает о двуличности всего, что окружает нас в человеческом обществе, о разрыве между видимостью и сущностью, между «быть» и «казаться». Это одновременно проблема нравственная — обличение лицемерия, расчетливой лжи и льстивого раболепия, но также и философская — несовершенство наших инструментов познания истины, несостоятельность нашего разума, так легко поддающегося обману. Следует сказать, что формула «быть и казаться» выражает одну из самых глубоких и трагически неразрешимых проблем эпохи, получившую образное воплощение в художественной культуре барокко в форме более или менее развернутых метафор: «жизнь — театр», «люди — комедианты», «лица — маски», «жизнь есть сон» (драма Кальдерона и изречение Паскаля), в декоративном использовании зеркаль-



ных и водных отражений («мнимой реальности»), иллюзорных эффектах театральных декораций, музыкальном приеме эха.

У Ларошфуко эта тема задана изначально эпиграфом, который появляется начиная с четвертого издания «Максим» (1675). Уже сама постановка этой проблемы определяет и парадоксальную структуру большинства максим — неожиданное соположение противоположностей (см. № 11, 14, 25, 29, 41 и многие др.).

Одна из центральных тем книги — соотношение разума и страсти. XVII век утратил гармонический синтез и равновесие этих двух начал человеческой натуры, выдвинутые эпохой Возрождения. Дуалистическая концепция Декарта, утверждавшая их противостояние, принимается большинством мыслителей рационалистического направления. Тот же конфликт лежит в основе классической трагедии. Ларошфуко не склонен драматизировать его или отдавать предпочтение тому либо другому началу, хотя во многих максимах заострена противоположность разума и страсти (в иной модификации — ума и сердца). Он далек от стоического идеала, утверждающего торжество разума над страстью (как в трагедии Корнеля). Этому препятствует его скептическая оценка человеческой природы. Он признает превосходство чувства над разумом в критической ситуации, когда они вступают в борьбу. Но в этой борьбе и победа, и поражение выглядят далеко не героически, итог для самого человека — нулевой: «Ум всегда в дураках у сердца». Ибо сердце так же далеко от истины и добродетели, как ум.

С другой стороны, автор «Максим» чужд и культу христианского самоуничижения, траги-

ческой гиперболизации власти страстей над человеческим сердцем, которая лежит в основе морального учения янсенистов, развивается в «Мыслях» Паскаля и в трагедии Расина. Ларошфуко рисует человеческую природу, как она есть, во всей ее неутешительной реальности, не надеясь исправить ее, но пытаясь познать, обнажить, отбросить неуместные иллюзии. Само слово «максима», первоначально означавшее нормативное высказывание, переосмысливается у Ларошфуко и приобретает значение констатации. На первый взгляд, это напоминает скептическую позицию Монтеня, которому Ларошфуко действительно многим обязан. Но скептицизм Монтеня, казалось бы универсальный в вопросах познания, гораздо снисходительнее в нравственной оценке человека: сложность и изменчивость человеческой природы создают подвижный баланс добра и зла, оставляющий возможность оптимистического исхода. Несмотря на трагические испытания своего жестокого времени, Монтень не расстался с жизнеутверждающими воззрениями гуманизма. Его собственная богатая и могучая личность служит для него источником этой более терпимой трактовки человеческой природы. Скептицизм Ларошфуко — более суровый и категоричный. Динамическая изменчивость человека в понимании Монтеня сменяется у Ларошфуко изначальной стабильной двойственностью и двуличностью, не оставляющей места для конечного торжества светлого и доброго начала.

Вместе с тем эта оценка человека никак не связана у Ларошфуко с христианской концепцией первородного греха. Вообще религиозные понятия и догмы ни в каком виде не присут-

вуют в «Максимах» — это книга насквозь мирская, светская и по сути, и по форме. Источники человеческих слабостей нередко получают в ней чисто сенсуалистическое объяснение: «Сила и слабость духа — это просто неправильные выражения: в действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела». Не случайно так часто Ларошфуко проводит параллель между « пороками души » и « ранами тела » (№ 188, 194). И хотя физическая природа человека не представляет для него того самостоятельного интереса, который можно наблюдать у Монтеня, он не сбрасывает ее со счета и не отрицает ее роли в объяснении психического мира. Это дань широко распространенным воззрениям, идущим от учения философа-материалиста Гассенди, во многом определившим нравственные позиции Мольера и Лафонтена.

«Природа» человека, изначально присущие ему свойства (чаще всего — дурные) не исчерпывают содержания его личности: она взаимодействует с его «судьбой», — только в этом сочетании человек реализует и проявляет себя в общественном бытии. При всей абстрактности «Максим» мы неизменно ощущаем тот общественный фон, на котором разворачиваются человеческие страсти, пороки, отношения с себе подобными. Социум, который подразумевается (хотя, как правило, не назван), — это хорошо знакомый автору высший свет, и целый ряд максим обнаруживает его характерные приметы. И все же большинство наблюдений Ларошфуко имеют общечеловеческий смысл, который сохраняют и сейчас, по прошествии трех столетий с момента их появления. Недаром их так высоко ценил Л. Н. Толстой.

Ларошфуко создал образцовую модель афористического жанра, ставшую отправной точкой для писателей-афористов последующего времени. Но его современник Блез Паскаль, работавший над своими «Мыслями» в уединении монастыря Пор-Рояль, не дожил до выхода в свет «Максим» и даже не подозревал, что такая книга задумана автором. У «Максим» и «Мыслей» разная «биография», разные изначальные цели, и, конечно, более всего разнятся их создатели. Но книги эти обнаруживают порой удивительные переклички. При всем различии подхода к человеку, масштабов философской и нравственной проблематики, они порождены единой эпохой, единой духовной атмосферой.

В отличие от Ларошфуко, образовавшего свой ум путем самостоятельного и произвольно выбранного чтения, Паскаль получил всестороннее и систематическое образование. Раннее научное творчество не могло не стать школой его интеллекта. Оно отразилось и на содержании «Мыслей», и порою на самом характере изложения. Как математик и физик Паскаль был многим обязан Декарту, хотя и оспаривал некоторые его положения. Естественно, что он не мог пройти мимо его философских трудов. Присутствие Декарта ощущается в «Мыслях», независимо от того, назван он по имени (как в № 77) или нет. Но философское мировоззрение Паскаля испытало и другое воздействие, впрочем, также связанное с рационалистической философией Декарта. Речь идет о янсенизме, который сыграл решающую роль во внутренней трагедии Паскаля и его внешней судьбе.

Янсенизм представляет собой философско-религиозное течение, не порывавшее с официаль-

ной католической церковью, но во многом эмансипировавшееся от ее догм и подвергшее их суровой критике. Особенно резко янсенисты выступали против иезуитов с их лживой казуистикой и двусмысленной моралью. Янсенистский пафос нравственного обличения, не ограничиваясь рамками чисто религиозных споров, охватывал различные стороны жизни общества: янсенисты обрушивались на духовную опустошенность и разврат, разгул страстей и вожделений, царившие в высших слоях французского общества. Идея христианского смирения перед всемогущим промыслом господним сочеталась у них с высоким гражданским мужеством и верностью своим убеждениям, которые ярко проявились в пору жестокого разгрома янсенистской общины (1680-е гг.). В период особенно активного распространения янсенизма (1640—1650-е гг.) перевес сил был, конечно, на стороне официальной церкви. Но все же дело не шло дальше осуждения отдельных тезисов или сочинений. Одновременно рос моральный и общественный авторитет янсенистов. В орбите их влияния находились многие высокопоставленные лица, которые охотно отдавали своих детей в янсенистские коллежи, пользовавшиеся заслуженно высокой репутацией. Центр янсенистской общины — женский монастырь Пор-Рояль в Париже — сосредоточил вокруг себя многих выдающихся ученых — юристов, филологов, философов.

В основе религиозного учения янсенизма лежала идея «благодати», предопределявшей свыше спасение души. Только при ее поддержке человек может преодолеть исконную греховность своей натуры, слабость перед лицом обуре-



вающих его страстей. Но при этом сам человек должен сознавать эту слабость, стремиться к нравственному совершенствованию и чистоте. Эта концепция, воспринятая Паскалем, получила в его «Мыслях» образное выражение: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий... Итак, все наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом основа нравственности». Янсенистское учение о слабости человека и одновременно силе его разума получает в нравственно-философской концепции Паскаля диалектическое развитие. Человек соткан из противоположностей, в нем сочетаются сила и слабость, добродетели и пороки, инстинкт и разум. Но это — не противоречие обманчивой видимости и реальной сущности, как в концепции Ларошфуко. Сама сущность человека многозначна и противоречива (см. в особенности № 354 и 358). В таком же духе трактует Паскаль и узловый вопрос нравственной философии своего времени — о соотношении разума и страстей: «Междоусобица разума и страстей в человеке. Будь у него только разум... Или только страсти... Но наделенный и разумом, и страстями, он непрерывно воюет сам с собой... Поэтому он всегда страдает, всегда раздираем противоречиями». В этих словах — не осуждение, не приговор ироничного скептика, а сочувствие, горячая сопричастность трагическому разладу в человеческой душе, разладу его с мирозданием, который Паскаль сам испытывал долгие годы. Слабости и страсти, толкающие человека на путь греха и порока, не исчерпывают его сущ-

ности. Его ничтожество совместимо, более того — неразрывно связано с его величием, а осью, соединяющей эти два полюса, является разум, сознание: «Величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает».

Нравственные вопросы перенесены у Паскаля в космический масштаб. Человек локализован не только в социальной среде (как у Ларошфуко и всех последующих моралистов), но и во вселенной. Время и пространство измеряются не сроками человеческой жизни и местом обитания, а бесконечностью. Философский кругозор Паскаля, раздвинутый математическими и естественно-научными знаниями, позволяет ему взглянуть на человека с точки зрения его места в мироздании. Но наука, поставившая перед ним этот вопрос, не дает ему ответа, и он ищет его в религии.

Личное отношение окрашивает у Паскаля изложение самых универсальных проблем, и это наложило свой отпечаток на внешнюю форму «Мыслей», во многом отличную, а иногда и противоположную «Максимумам» Ларошфуко. Слово «я», отсутствующее в «Максимах», то и дело встречается в «Мыслях». Паскаль сомневается, взвешивает, «проигрывает» разные варианты решения, спорит сам с собой, нередко обращается к диалогической форме, так умело и плодотворно использованной им в его первой книге «Письма к провинциалу». Там нарочито наивные вопросы «провинциала», пытающегося уяснить себе истинный смысл иезуитских хитросплетений, выявляют свою несовместимость со здравым человеческим смыслом и нравственным чувством. В «Мыслях» часто всплывает тот же

прием, особенно когда речь идет о проблемах социальных, правовых, политических (см. № 293, 295, 317, 319, 323). Он сродни парадоксу, который чаще всего лежит в основе произведений афористического жанра. Но парадокс у Ларошфуко — прежде всего заостренная форма, эффектно выделяющая мысль. У Паскаля парадокс выражает противоречивость всего мироздания. Черновой и фрагментарный характер «Мыслей» прямо противостоит тщательно отточенному, выверенному, продуманному стилю «Максим». Но в этой «предварительности», эскизности таится свое очарование — искренний голос автора, его трагическое недоумение, переходящее в пароксизмы отчаяния; страстные поиски истины открывают нам другую сторону эпохи, другое видение ее конфликтов и противоречий.

Жан де Лабрюйер замыкает собой триаду великих французских моралистов. Он писал свою книгу на исходе «великого века» классической литературы, выбрал ее традиции и завоевания, многообразный опыт духовной культуры. Он пристально изучал ее и посвятил ей первую главу — «О творениях человеческого разума».

«Характеры, или Нравы нынешнего века» создавались в эпоху, когда стал очевидным кризис французского абсолютизма. Конечно, ни Паскаль, ни Ларошфуко не питали иллюзий относительно благостных последствий политического режима, утвердившегося после разгрома Фронды. И все же 1660-е годы с их внешним блеском, расцветом литературы и искусства, демонстративно поощряемым королевской властью, с победоносными военными походами,

расширившими владения французской короны, могли породить в общественном сознании представление о стабильности и процветании. Если такие иллюзии и существовали, они оказались недолговечными. Войны продолжались, но приносили поражения и разоряли страну. Период кратковременного «церковного мира» сменился ожесточенным наступлением церковной реакции, растущим влиянием иезуитов при дворе. Прямыми последствиями этого были массовые репрессии против протестантов и янсенистов. Все острее обозначались социальные противоречия внутри французского общества: растущая нищета крестьянства, закабаленного непосильными податями; безудержная роскошь знати, все больше попадавшей в финансовую зависимость от разбогатевших ростовщиков. В широких масштабах практикуется создание новых должностей, фиктивных и бессмысленных, но предоставляющих определенные права и общественное положение. Они становятся предметом торгов с целью пополнить истощенную государственную казну. Разбухающий паразитический аппарат ложился тяжким бременем на широкие слои населения.

Эти социальные процессы усугублялись упадком нравов. Фаворитизм и произвол, раболепие перед сильными мира сего, лицемерие, девальвация нравственных ценностей становятся обычными мотивами обличительной литературы этих лет. И не случайно моралистический жанр в творчестве Лабрюйера приобретает отчетливо выраженную социальную окраску. Книга Лабрюйера задумана как широкая картина нравов эпохи. Уже само заглавие: «Характеры, или Нравы нынешнего века» — изымает ее из той

вневременной плоскости, к которой отнесены «Максимы». Книга Ларошфуко, хотя и обладала внутренней стройностью в тематическом расположении материала, не была разбита на самостоятельные разделы. Автор нередко вновь и вновь возвращался к уже освещенным темам. Гораздо более объемная книга Лабрюйера строится по главам, которые точно соответствуют своим названиям. Эти главы раскрывают перед нами разные пласты социальной иерархии французского общества: двор и город (известная формула Буало, вмещавшая представление о главных объектах художественного изображения), вельможи, светское общество, сам монарх. Они перемежаются с главами, нацеленными, казалось бы, на чисто моральные вопросы: «О сердце», «О достоинствах человека», «О суждениях» и т. д. Но о чем бы ни писал Лабрюйер, книга его прикреплена к реальным отношениям его времени. Это ясно проступает, например, в главе «О достоинствах человека». Предвосхищая одну из главных проблем эпохи Просвещения, Лабрюйер говорит о том, «как бесконечно трудно человеку, который не принадлежит ни к какой корпорации, не ищет покровителей... и не может представить иных рекомендаций, кроме собственных незаурядных дарований,— как трудно ему выбиться на поверхность и стать вровень с глупцом, который обласкан судьбой». Проблема личного достоинства и его несоответствия общественному положению, несомненно отражающая собственный жизненный опыт Лабрюйера, его уязвленное самосознание, лейтмотивом проходит сквозь книгу, и социальный смысл его гораздо отчетливее, чем в сходных по содержанию максимах Ларошфуко. Лабрюйер



первый из моралистов в XVII веке уделяет внимание распаду семьи, который наметился в высшем обществе той поры — в этом он также выступает предшественником моралистов эпохи Просвещения.

В социальном репертуаре «Характеров» особого внимания заслуживают две темы — об откупщиках и о народе. Они органически связаны между собой самой реальностью французской жизни. Фигура откупщика, беззастенчивого и всемогущего своим богатством, входит во французскую литературу начиная с маленькой одноактной комедии Мольера «Графиня д'Эскарбанняс» (1671). В пору создания «Характеров» масштабы этого социального явления заметно возросли: «Дайте Эргасту волю, и он обложит налогом воду, которую пьют, и землю, по которой ходят: он умеет превращать в золото все — даже тростник, камыш и крапиву... Он полон ненасытной жажды приобретать и владеть...»; «Жизнь от... щ.ов [откупщиков] распадается на две равные половины: первая, деятельная и непоседливая, целиком занята тем, что они грабят народ, вторая, предшествующая смерти, — тем, что они обличают и разоряют друг друга». Тема народа впервые со всей остротой была поставлена именно Лабрюйером. Говоря о нравственных качествах простых людей, он делает недвусмысленный выбор между вельможами и простолюдинами: «Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: „Народом“». Лабрюйер первый останавливает внимание на ужасающей нищете французского народа — этой теме посвящен 128-й фрагмент главы «О человеке», на который ссылается Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург».

Но писатель вновь и вновь возвращается к ней в других зарисовках.

С точки зрения жанра, «Характеры» Лабрюйера заметно отличаются от «Максим». Это объясняется и существенно иными задачами, и отчасти заданным образцом — «Характерами» древнегреческого моралиста Теофраста, но главным образом — иной тематикой и иной авторской позицией, более публицистичной и заостренной. Социальная прикрепленность более пространных фрагментов Лабрюйера заставляет его обращаться к опыту других жанров — особенно к комедии Мольера. Преемственность сочетается с полемикой. Наряду с лаконичными афоризмами в духе «Максим» Лабрюйер пользуется жанровыми зарисовками, в которых выступают материальные детали внешности человека и обстановки. Имена, которыми он наделяет своих персонажей, насквозь условны (хотя современники и ухитрялись подбирать к ним «ключ»). Но даже самое условное имя несет с собой элемент конкретизации — и в этом еще одно отличие «Характеров» от «Максим» Ларошфуко. Книга Лабрюйера не только хронологически, но и по самой сути своей стоит на пороге двух столетий: подводя итог моралистической литературе XVII века, она во многом предвосхищает век Просвещения.

*Н. А. ЖИРМУНСКАЯ*

# Франсуа де Ларошфуко

---

1613 - 1680





# МАКСИМЫ И МОРАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Наши добродетели — это чаще  
всего искусно переряженные пороки

## 1

То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью: так, например, порою женщины бывают целомудренны, а мужчины — доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть.

## 2

Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие.

## 3

Сколько ни сделано открытий в стране себялюбия, там еще осталось вдоволь неисследованных земель.

## 4

Ни один хитрец не сравнится в хитрости с себялюбием.

## 5

Долговечность наших страстей не более зависит от нас, чем долговечность жизни.

## 6

Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом.

## 7

Великие исторические деяния, ослепляющие нас своим блеском и толкуемые политиками как следствие великих замыслов, чаще всего являются плодом игры прихотей и страстей. Так, война между Августом и Антонием, которую объясняют их честолюбивым желанием властвовать над миром, была, возможно, вызвана просто-напросто ревностью.

## 8

Страсти — это единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны; их искусство рождено как бы самой природой и зиждется на непреложных законах. Поэтому человек бесхитростный, но увлеченный страстью, может убедить скорее, чем красноречивый, но равнодушный.

## 9

Страстям присущи такая несправедливость и такое своекорыстие, что доверять им опасно и следует их остерегаться даже тогда, когда они кажутся вполне разумными.

В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, и угасание одной из них почти всегда означает торжество другой.

Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противоположных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность — к скупости; люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости.

Как бы мы ни старались скрыть наши страсти под личиной благочестия и добродетели, они всегда проглядывают сквозь этот покров.

Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды.

Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться.

## 15

Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика, цель которой — завоевать любовь народа.

## 16

Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда тщеславием, нередко ленью, часто страхом, а почти всегда — и тем, и другим, и третьим.

## 17

Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей.

## 18

Умеренность — это боязнь зависти или презрения, которые становятся уделом всякого, кто ослеплен своим счастьем; это суетное хвастовство мощью ума; наконец, умеренность людей, достигших вершин удачи, — это желание казаться выше своей судьбы.

## 19

У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего.

## 20

Невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.



Невозмутимость, которую проявляют порой осужденные на казнь, равно как и презрение к смерти, говорит лишь о боязни взглянуть ей прямо в глаза; следовательно, можно сказать, что то и другое для их разума — все равно что повязка для их глаз.

Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией.

Немногим людям дано постичь, что такое смерть; в большинстве случаев на нее идут не по обдуманному намерению, а по глупости и по заведенному обычаю, и люди чаще всего умирают потому, что не могут воспротивиться смерти.

Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила честолюбия и что герои отличаются от обыкновенных людей только бóльшим тщеславием.

Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна.

Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор.

Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться.

Ревность до некоторой степени разумна и справедлива, ибо она хочет сохранить нам наше достояние или то, что мы считаем таковым, между тем как зависть слепо негодует на то, что какое-то достояние есть и у наших ближних.

Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас меньше ненависти и преследований, чем наши достоинства.

Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны.

Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних.

Ревность питается сомнениями; она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность.

Гордыня всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда отказывается от тщеславия.

Если бы нас не одолевала гордыня, мы не жаловались бы на гордыню других.

Гордость свойственна всем людям; разница лишь в том, как и когда они ее проявляют.

Природа, в заботе о нашем счастье, не только разумно устроила органы нашего тела, но еще подарила нам гордость,— видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства.

Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей собственной непогрешимости.

Мы обещаем соразмерно нашим расчетам, а выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям.

Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли — даже роль бескорыстия.

Одних своекорыстие ослепляет, другим открывает глаза.

Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому.

У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка.

Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой.

Сила и слабость духа — это просто неправильные выражения: в действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела.

Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы.

В привязанности или равнодушии философов к жизни сказывались особенности их себялюбия, которые так же нельзя оспаривать, как особенности вкуса, как склонность к какому-нибудь блюду или цвету.

Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от расположения духа.

Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.

Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как это кажется ему самому.

Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам.

Что может быть сокрушительнее для нашего самодовольства, чем ясное понимание того, что сегодня мы порицаем вещи, которые еще вчера одобряли.

Хотя судьбы людей очень несхожи, но некое равновесие в распределении благ и несчастий как бы уравнивает их между собой.

Какими бы преимуществами природа ни наделила человека, создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу.

Презрение философов к богатству было вызвано их сокровенным желанием отомстить несправедливой судьбе за то, что она не наградила их по достоинствам жизненными благами; оно было тайным средством, спасающим от унижений бедности, и окольным путем к почету, обычно доставляемому богатством.

Ненависть к людям, попавшим в милость, вызвана любовью к этой самой милости. Досада на ее отсутствие смягчается и умиротворяется презрением ко всем, кто ею пользуется; мы отказываем им в уважении, ибо не можем отнять того, что привлекает к ним уважение всех окружающих.

Чтобы упрочить свое положение в свете, люди старательно делают вид, что оно уже упрочено.

Как бы ни кичились люди величию своих деяний, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а простой случайности.

Наши поступки словно бы рождаются под счастливой или несчастливой звездой; ей они и обязаны большей частью похвал или порицаний, выпадающих на их долю.

Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог обратить их против себя.

Судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.

Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его нрава, как и от судьбы.

Искренность — это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством, а то, что мы принимаем за него, чаще всего просто тонкое притворство, цель которого — добиться откровенности окружающих.

За отвращением ко лжи нередко кроется затаенное желание придать вес нашим утверждениям и внушить благоговейное доверие к нашим словам.

Не так благотворна истина, как зловредна ее видимость.

Каких только похвал не возносят благоразумию! Однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы.

Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное.



Изящество для тела — это то же, что здравый смысл для ума.

Трудно дать определение любви; о ней можно лишь сказать, что для души — это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь.

Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим.

Никакое притворство не поможет долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать — когда ее нет.

Нет таких людей, которые, перестав любить, не начали бы стыдиться пропавшей любви.

Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу.

На свете немало таких женщин, у которых в жизни не было ни одной любовной связи, но очень мало таких, у которых была только одна.

Любовь одна, но подделок под нее — тысячи.

Любовь, подобно огню, не знает покоя: она перестает жить, как только перестает надеяться или бояться.

Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел.

Любовь прикрывает своим именем самые разнообразные человеческие отношения, будто бы связанные с нею, хотя на самом деле она участвует в них не более, чем дож в событиях, происходящих в Венеции.

У большинства людей любовь к справедливости — это просто боязнь подвергнуться несправедливости.

Тому, кто не доверяет себе, разумнее всего молчать.

Мы потому так непостоянны в дружбе, что трудно познать свойства души человека и легко познать свойства ума.

Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись; таким образом, жертвуя собственными интересами ради друзей, мы просто следуем своим вкусам и склонностям. Однако именно эти жертвы делают дружбу подлинной и совершенной.

Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию.

Люди обычно называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную помощь в делах, обмен услугами — одним словом, такие отношения, где себялюбие надеется что-нибудь выгадать.

Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым.

Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей, стоящих над нами; между тем такая дружба вызвана одним лишь своекорыстием: мы сближаемся с этими людьми не ради того, что́ хотели бы им дать, а ради того, что́ хотели бы от них получить.

Своим недоверием мы оправдываем чужой обман.

Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос.

Себялюбие увеличивает или умаляет добродетели наших друзей в зависимости от того, насколько мы довольны этими людьми: об их достоинствах мы судим по их отношению к нам.

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум.

В повседневной жизни наши недостатки кажутся порою более привлекательными, чем наши достоинства.

Самое большое честолюбие прячется и становится незаметным, как только его притязания наталкиваются на непреодолимые преграды.

Вывести из заблуждения человека, убежденного в собственных достоинствах,— значит оказать ему такую же дурную услугу, какую некогда оказали тому афинскому безумцу, который считал себя владельцем всех кораблей, прибывающих в гавань.

Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры.

Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью.

Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто сумел заслужить похвалу своих завистников.

Неблагодарность остается неблагодарностью даже и в том случае, когда благодетельствованный повинен в ней меньше, чем благодетель.

Неправ тот, кто считает, будто ум и проницательность — различные качества. Проницательность — это просто особенная ясность ума, благодаря которой он добирается до сути вещей, отмечает все, достойное внимания, и видит невидимое другим. Таким образом, все, приписываемое проницательности, является лишь следствием необычайной ясности ума.

Все расхваливают свою доброту, но никто не решается похвалить свой ум.

Учтивость ума заключается в способности думать достойно и утонченно.

Изысканность ума сказывается в умении тонко льстить.

Порою в нашем уме рождаются мысли в форме, уже такой отточенной, какую он никогда не смог бы придать им, сколько бы ни ухищрялся.

Ум всегда в дураках у сердца.

Не всякий человек, познавший глубины своего ума, познал глубины своего сердца.

На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определенного расстояния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными, только если глядеть на них издали.

Умен не тот, кого случай делает умным, а тот, кто понимает, что такое ум, умеет его распознать и любит его им.

Чтобы постичь окружающий нас мир, нужно знать его во всех подробностях, а так как этих подробностей почти бесчисленное множество, то и знания наши всегда поверхностны и несовершенны.

Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство.

Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца.

Юность меняет свои вкусы из-за пылкости чувств, а старость сохраняет их неизменными по привычке.

Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.

Чем сильнее мы любим женщину, тем больше склонны ее ненавидеть.

К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недостатки внешности.

Бывают удачные браки, но не бывает браков упоительных.

Люди безутешны, когда их обманывают враги или предают друзья, но они нередко испытывают удовольствие, когда обманывают или предают себя сами.

Так же легко обмануть себя и не заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным.



Сколько лицемерия в людском обычае советовать! Тот, кто просит совета, делает вид, что относится к мнению своего друга с почтительным вниманием, хотя в действительности ему нужно лишь, чтобы кто-то одобрил его поступки и взял на себя ответственность за них. Тот же, кто дает советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путем какую-либо выгоду или снискать почет.

Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас.

Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать нас.

Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.

Предательства совершаются чаще всего не по обдуманному намерению, а по слабости характера.

Люди делают добро часто лишь для того, чтобы обрести возможность безнаказанно чинить зло.

Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы.

Люди не знали бы удовольствия в жизни, если бы никогда себе не льстили.

Истинно ловкие люди всю жизнь делают вид, что гнушаются хитростью, а на самом деле они просто приберегают ее для исключительных случаев, обещающих исключительную выгоду.

Злоупотребление хитростью говорит об ограниченности ума; люди, пытающиеся прикрыть таким способом свою наготу в одном месте, неизбежно разоблачают себя в другом.

Хитрость и предательство свидетельствуют лишь о недостатке ловкости.

Вернейший способ быть обманутым — это считать себя хитрее других.

Преувеличенная тонкость ведет к пустой щепетильности; только в истинной щепетильности скрыта настоящая тонкость.

Иногда достаточно быть грубым, чтобы избежать ловушки хитреца.

Слабость характера — это единственный недостаток, который невозможно исправить.

Легкое поведение — это наименьший недостаток женщин, известных своим легким поведением.

Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.

Копии хороши лишь тогда, когда они открывают нам смешные стороны дурных оригиналов.

В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют.

Порою человек так же мало похож на себя, как и на других.

Иные люди потому и влюбляются, что они слышаны о любви.

Люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает их говорить.

Люди скорее согласятся себя чернить, нежели молчать о себе.

Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается изобразить на своем лице внимание, но его глаза и весь облик выдают отсутствие интереса к тому, что говорит другой, и нетерпеливое желание вер-

нуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало кто понимает, что такое старание угодить себе — плохой способ угодить другому или убедить его, и что, только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником.

140

Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, не будь он окружен дураками.

141

Мы любим похвастаться тем, что никогда не скучаем, и так тщеславны, что боимся прослыть плохими собеседниками.

142

В то время как люди умные умеют выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают способностью много говорить — и ничего не сказать.

143

Преувеличивая чужие добродетели, мы отдаем дань не столько им, сколько нашим собственным чувствам: мы ищем похвал себе, делая вид, что хвалим других.

144

Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно. Похвала — это искусная, скрытая,

изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому льстят: один принимает ее как награду за свои достоинства, другой преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность.

145

Мы часто выискиваем отравленные похвалы, косвенно открывающие в тех, кого мы хвалим, такие недостатки, на которые мы не осмеливаемся указать прямо.

146

Мы хвалим других обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе.

147

Люди редко бывают достаточно разумны, чтобы предпочесть полезное порицание опасной похвале.

148

Иные упреки звучат как похвала, зато иные похвалы хуже злословия.

149

Уклонение от похвалы — это просьба повторить ее.

150

Жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель; таким образом, похвалы нашему уму, доблести и красоте делают нас умнее, доблестнее и красивее.

151

Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами.

152

Если бы мы не льстили себе сами, нас не портила бы чужая лесть.

153

Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба.

154

Судьба исправляет такие наши недостатки, каких не мог бы исправить даже разум.

155

Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках.

156

Есть люди, все достоинства которых основаны на способности уместно говорить и делать глупости; если бы они изменили поведение, все было бы испорчено.

157

Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была достигнута.

Лесть — это фальшивая монета, которая имеет хождение только из-за нашего тщеславия.

Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться.

Любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла.

Деяние и замысел должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся неосуществленными.

Умение ловко пользоваться посредственными способностями не внушает уважения — и все же нередко приносит людям больше славы, чем истинные достоинства.

В очень многих случаях поведение людей только потому кажется смешным, что причины его, вполне разумные и основательные, скрыты от окружающих.



Человеку легче казаться достойным той должности, которой он не занимает, нежели той, в которой состоит.

Порядочные люди уважают нас за наши достоинства, а толпа — за благосклонность судьбы.

Свет чаще награждает видимость достоинств, нежели сами достоинства.

Скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность.

Как ни обманчива надежда, все же до конца наших дней она ведет нас легкой стезей.

Хотя мы храним верность своему долгу нередко лишь из лени и трусости, все лавры за это достаются на долю наших добродетелей.

Нелегко разглядеть, чем вызван честный, искренний, благородный поступок — порядочностью или дальновидным расчетом.

Добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море.

Если внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она заставляет отступать от долга чаще, чем даже своекорыстие.

Есть две разновидности любопытства: своекорыстное — внушенное надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбивое — вызванное желанием узнать то, что неизвестно другим.

Было бы куда полезнее употребить все силы нашего разума на то, чтобы достойно сносить несчастья, уже случившиеся, нежели на то, чтобы предугадывать несчастья, которые еще только могут случиться.

Постоянство в любви — это вечное непостоянство, побуждающее нас увлекаться по очереди всеми качествами любимого человека, отдавая предпочтение то одному из них, то другому; таким образом, постоянство оказывается непостоянством, но ограниченным, то есть сосредоточенным на одном предмете.

Постоянство в любви бывает двух родов: мы постоянны или потому, что все время находим в любимом человеке новые качества, достойные любви, или же потому, что считаем постоянство долгом чести.

Постоянство не заслуживает ни похвал, ни порицаний, ибо в нем проявляется устойчивость вкусов и чувств, не зависящая от нашей воли.

К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько недовольство тем, что люди хорошо знакомые недостаточно нами восхищаются, и надежда на то, что люди мало знакомые будут восхищаться больше.

Мы постоянно жалуемся на друзей, чтобы заранее оправдать непостоянство нашей дружбы.

Наше раскаяние — это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ.

Иногда непостоянство происходит от легкомыслия или от незрелости ума, побуждающих человека соглашаться с любым чужим мнением; но есть другого рода непостоянство, более простительное, ибо его порождает отвращение к окружающему.

Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств; благоразумие смешивает их, ослабляет их действие и потом умело пользуется ими как средством против жизненных невзгод.

К чести добродетели следует все же признать, что самые большие несчастья случаются с людьми не из-за нее, а из-за их собственных проступков.

Мы признаёмся в своих недостатках для того, чтобы этой искренностью возместить ущерб, который они наносят нам в мнении окружающих.

Зло, как и добро, имеет своих героев.

Мы презираем не тех, у кого есть пороки, а тех, у кого нет никаких добродетелей.

Видимость добродетели приносит своекорыстию не меньшую пользу, чем порок.

Здоровье души не менее хрупко, чем здоровье тела, и тот, кто мнит себя свободным от страстей, так же легко может им поддаться, как человек цветущего здоровья — заболеть.

С самого рождения человека природа, видимо, предопределяет меру его добродетелей и пороков.

Только у великих людей бывают великие пороки.

Можно сказать, что пороки ждут нас на жизненном пути, как хозяева постоянных дворов, у которых приходится поочередно останавливаться, и я не думаю, чтобы опыт помог нам их избежать, даже если бы нам было дано пройти этот путь вторично.

Когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их.

Болезни души так же возвращаются к нам, как и болезни тела. То, что мы принимаем за выздоровление, обычно оказывается либо кратковременным облегчением старого недуга, либо началом нового.

Пороки души похожи на раны тела: как бы старательно их ни лечили, они все равно оставляют рубцы и в любую минуту могут открыться снова.

Всецело предаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько.

Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним.

Есть люди, в дурные дела которых невозможно поверить, пока не убедишься собственными глазами. Однако нет таких людей, дурным делам которых стоило бы удивляться после того, как мы в них уже убедились.

Мы порою восхваляем доблести одного человека, чтобы унижить другого: так, например,

люди меньше превозносили бы принца Конде, если бы не хотели опорочить маршала Тюрена, и наоборот.

199

Желание прослыть ловким человеком нередко мешает стать ловким в действительности.

200

Добродетель не достигла бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие.

201

Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее.

202

Люди мнимо благородные скрывают свои недостатки и от других и от себя, а люди истинно благородные прекрасно их сознают и открыто о них заявляют.

203

Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся.

204

Строгость нрава у женщин — это белила и румяна, которыми они оттеняют свою красоту.

205

Целомудрие женщин — это большей частью просто забота о добром имени и покое.

206

Кто стремится всегда жить на виду у благородных людей, тот поистине благородный человек.

207

Безрассудство сопутствует нам всю жизнь; если кто-нибудь и кажется нам мудрым, то это значит лишь, что его безрассудства соответствуют его возрасту и положению.

208

Есть глупцы, которые сознают свою глупость и ловко ею пользуются.

209

Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему кажется.

210

К старости люди становятся безрассуднее — и мудрее.

211

Иные люди похожи на песенки: они быстро выходят из моды.



Большинство людей судит о ближних по их богатству или светским успехам.

Жажда славы, боязнь позора, погоня за богатством, желание устроить жизнь удобно и приятно, стремление унижить других — вот что нередко лежит в основе доблести, столь превозносимой людьми.

Для простого солдата доблесть — это опасное ремесло, за которое он берется, чтобы снискать себе пропитание.

Высшая доблесть и непреодолимая трусость — это крайности, которые встречаются очень редко. Между ними на обширном пространстве располагаются всевозможные оттенки храбрости, такие же разнообразные, как человеческие лица и характеры. Есть люди, которые смело встречают опасность в начале сражения, но легко охлаждаются и падают духом, если оно затягивается; другие делают то, чего от них требует общественное мнение, и на этом успокаиваются. Одни не всегда умеют овладеть своим страхом, другие подчас заражаются страхом окружающих, а третьи идут в бой просто потому, что не смеют оставаться на своих местах. Иные, привыкнув к мелким опасностям, закаляются

духом для встречи с более значительными. Некоторые храбры со шпагой в руках, но пугаются мушкетного выстрела; другие же смело стоят под пулями, но боятся обнаженной шпаги. Все эти различные виды храбрости схожи между собой в том, что ночью, — когда страх усиливается, а тьма равно скрывает и хорошие и дурные поступки, — люди ревнивее оберегают свою жизнь. Но есть у людей еще один способ обещать себя — и притом самый распространенный: делать меньше, чем они сделали бы, если бы знали наперед, что все сойдет благополучно. Из этого явствует, что страх смерти в какой-то мере ограничивает людскую доблесть.

## 216

Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей.

## 217

Бесстрашие — это необычайная сила души, возносящая ее над замешательством, тревогой и смятением, порождаемыми встречами с серьезной опасностью. Эта сила поддерживает в героях спокойствие и помогает им сохранять ясность ума в самых неожиданных и ужасных обстоятельствах.

## 218

Лицемерие — это дань уважения, которую пороки платят добродетели.

На войне большинство людей рискует жизнью не больше, нежели это необходимо, чтобы не запятнать своей чести; но лишь немногие готовы всегда рисковать так, как этого требует цель, ради которой они идут на риск.

Тщеславие, стыд, а главное, темперамент — вот что обычно лежит в основе мужской доблести и женской добродетели.

Все хотят снискать славу, но никто не хочет лишиться жизни; поэтому храбрецы проявляют не меньше находчивости и ума, чтобы избежать смерти, чем крючкотворцы — чтобы приумножить состояние.

Почти всегда по отроческим склонностям человека уже ясно, в чем его слабость и что приведет к падению его тело и душу.

Благодарность подобна честности купца: она поддерживает коммерцию. Часто мы оплачиваем ее счета не потому, что стремимся поступать справедливо, а для того, чтобы впредь люди охотнее давали нам займы.

Не всякий, кто платит долги благодарности, имеет право считать себя на этом основании благодарным человеком.

Ошибки людей в их расчетах на благодарность за оказанные ими услуги происходят оттого, что гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благодеяния.

Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность.

Счастливые люди неисправимы: судьба не наказывает их за грехи, и поэтому они считают себя безгрешными.

Гордость не хочет быть в долгу, а себялюбие не желает расплачиваться.

Если кто-нибудь сделает нам добро, мы обязаны терпеливо сносить и причиняемое этим человеком зло.

Пример заразителен, поэтому все благодетели рода человеческого и все злодеи находят подражателей. Добрым делам мы подражаем из чувства соревнования, дурным же — из врожденной злобности, которую стыд сдерживал, а пример выпустил на волю.

Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех.

Чем бы мы ни объясняли наши огорчения, чаще всего в их основе лежит обманутое своекорыстие или уязвленное тщеславие.

Человеческое горе бывает лицемерно по-разному. Иногда, оплакивая потерю близкого человека, мы в действительности оплакиваем самих себя: мы оплакиваем наши утраченные наслаждения, богатство, влияние, мы горюем о добром отношении к нам. Таким образом, мы проливаем слезы над участью живых, а относим их за счет мертвых. Этот род лицемерия я считаю невинным, ибо в таких случаях люди обманывают не только других, но и себя. Однако есть лицемерие иного рода, более злостное, потому что оно сознательно вводит всех в заблуждение: я говорю о скорби некоторых людей, мечтающих снискать славу великим, неувядающим горем. После

того как безжалостное время умерит печаль, которую эти люди некогда испытывали, они продолжают упорствовать в слезах, жалобах и вздохах. Они надевают на себя личину уныния и стараются всеми своими поступками доказать, что их грусть кончится лишь вместе с жизнью. Это мелкое и утомительное тщеславие встречается обычно у честолюбивых женщин. Так как их пол закрывает им все пути, ведущие к славе, они стремятся достигнуть известности, выставляя напоказ свое безутешное горе. Есть еще один неглубокий источник слез, которые легко льются и легко высыхают: люди плачут, чтобы прослыть чувствительными, плачут, чтобы вызвать сострадание, плачут, чтобы быть оплаканными, и, наконец, плачут потому, что не плакать стыдно.

## 234

Люди упрямо не соглашаются с самыми здравыми суждениями не по недостатку проницательности, а из-за избытка гордости: они видят, что первые ряды в правом деле разобраны, а последние им не хочется занимать.

## 235

Горе друзей печалит нас недолго, если оно доставляет нам случай проявить на виду у всех наше участие к ним.

## 236

Порою может показаться, что себялюбие попадает в сети к доброте и невольно забывает о

себе, когда мы трудимся на благо ближнего. В действительности же мы просто избираем кратчайший путь к цели, как бы отдаем деньги в рост под видом подарка, и таким образом применяем тонкий и изысканный способ завоевать доверие окружающих.

237

Похвалы за доброту достоин лишь человек, у которого хватает твердости характера на то, чтобы иной раз быть злым; в противном случае доброта чаще всего говорит лишь о бездеятельности или о недостатке воли.

238

Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра.

239

Ничто так не льстит нашему самолюбию, как доверие великих мира сего; мы принимаем его как дань нашим достоинствам, не замечая, что обычно оно вызвано тщеславием или неспособностью хранить тайну.

240

Привлекательность при отсутствии красоты — это особого рода симметрия, законы которой нам неизвестны; это скрытая связь между всеми чертами лица, с одной стороны, и чертами лица, красками и общим обликом человека — с другой.

Кокетство — это основа характера всех женщин, только не все пускают его в ход, ибо у некоторых оно сдерживается боязнью или рассудком.

Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость.

На свете мало недостижимых вещей; будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели.

Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену.

Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость.

То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается переряженным честолюбием, которое, презирая мелкие выгоды, прямо идет к крупным.



Преданность — это в большинстве случаев уловка себялюбия, цель которой — завоевать доверие; это способ возвыситься над другими людьми и проникнуть в важнейшие тайны.

Великодушные всем пренебрегают, чтобы всем завладеть.

В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов.

Истинное красноречие — это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно.

Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинства не к лицу.

Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности.

Своекорыстие приводит в действие все добродетели и все пороки.

Смирение нередко оказывается притворной покорностью, цель которой — покорить себе других; это уловка гордыни, принижающей себя, чтобы возвыситься, и, хотя у нее множество личин, она лучше всего маскируется и скорее всего вводит в обман, когда прячется под видом смирения.

У всякого чувства есть свойственные лишь ему одному жесты, интонации и мимика; впечатление от них, хорошее или дурное, приятное или неприятное, и служит причиной того, что люди располагают нас к себе или отталкивают.

Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться; поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин.

Величавость — это непостижимая уловка тела, изобретенная для того, чтобы скрыть недостатки ума.

Хороший вкус говорит не столько об уме, сколько о ясности суждений.

Счастье любви заключается в том, чтобы любить; люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают.

Вежливость — это желание всегда встречать вежливое обращение и слыть обходительным человеком.

Воспитание молодых людей обычно сводится к поощрению их врожденного себялюбия.

Ни в одной страсти себялюбие не царит так безраздельно, как в любви; люди всегда готовы принести в жертву покой любимого существа, лишь бы сохранить свой собственный.

В основе так называемой щедрости обычно лежит тщеславие, которое нам дороже всего, что мы дарим.

Чаще всего сострадание — это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, это — предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас. Мы помогаем людям, чтобы они,

в свою очередь, помогли нам; таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, которые мы загодя оказываем самим себе.

265

Упрямство рождено ограниченностью нашего ума: мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора.

266

Ошибается тот, кто думает, будто лишь таким бурным страстям, как любовь и честолюбие, удается подчинить себе другие страсти. Самой сильной нередко оказывается бездеятельная лень: завладевая людскими помыслами и поступками, она незаметно подтачивает все их стремления и добродетели.

267

Люди потому так охотно верят дурному, не стараясь вникнуть в суть дела, что они тщеславны и ленивы. Им хочется найти виновных, но они не желают утруждать себя разбором совершенного проступка.

268

Мы по самым ничтожным поводам обвиняем судей в незнании дела и тем не менее охотно отдаем свою честь и доброе имя на их суд, хотя все они нам враждебны — одни из зависти, другие по ограниченности, третьи просто по занятости. Надеюсь на то, что эти люди выскажутся

в нашу пользу, мы рискуем своим покоем и даже жизнью.

269

Как бы ни был проникателен человек, ему не постигнуть всего зла, которое он творит.

270

Слава, уже приобретенная нами,— залог той славы, которую мы рассчитываем приобрести.

271

Молодость — это постоянное опьянение, это горячка рассудка.

272

Тому, чьи достоинства уже награждены подлинной славой, больше всего следовало бы стыдиться усилий, которые он прилагает, чтобы ему поставили в заслугу всякие пустяки.

273

В свете иной раз высоко ценят людей, все достоинства которых сводятся к порокам, приятным в повседневной жизни.

274

Очарование новизны в любви подобно цветению фруктовых деревьев: оно быстро блекнет и больше никогда не возвращается.

Природное добродушие, которое любит похвалиться своей чувствительностью, нередко умолкает, побежденное самым мелочным своекорыстием.

Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому как ветер гасит свечу, но раздувает пожар.

Нередко женщины, нисколько не любя, все же изображают, будто они любят: увлечение интригой, естественное желание быть любимой, подъем душевных сил, вызванный приключением, и боязнь обидеть отказом — все это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в действительности всего лишь кокетничают.

Люди редко бывают довольны тем, кто от их имени вступает в деловые переговоры, так как посредники, стараясь стяжать себе добрую славу, почти всегда жертвуют интересами своих друзей ради успеха самих переговоров.

Когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, нами обычно руководит не

столько благодарность, сколько желание выставить напоказ наши достоинства.

280

Доброжелательность, с которой люди порою приветствуют тех, кто впервые вступает в свет, обычно бывает вызвана тайной завистью к тем, кто уже давно занимает в нем прочное положение.

281

Гордыня часто разжигает в нас зависть, и та же самая гордыня нередко помогает нам с ней справиться.

282

Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу.

283

Для того чтобы воспользоваться чьим-нибудь здравым советом, подчас требуется не меньше ума, чем для того, чтобы подать здравый совет самому себе.

284

Опаснее всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты.

Великодушие довольно точно определено своим названием; кроме того, можно сказать, что оно — здоровый смысл гордости и самый достойный путь к доброй славе.

Мы не можем вторично полюбить тех, кого однажды действительно разлюбили.

Мы находим несколько решений одного и того же вопроса не столько потому, что наш ум очень плодovit, сколько потому, что он не слишком прозорлив и, вместо того чтобы остановиться на самом лучшем решении, представляет нам без разбора все возможности сразу.

При некоторых обстоятельствах, точно так же, как при некоторых болезнях, помощь со стороны может иной раз только повредить; требуется большая проницательность, чтобы распознать те случаи, когда она опасна.

Показная простота — это утонченное лицемерие.



290

В характере человека больше изъянов, чем в его уме.

291

У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора.

292

Можно сказать, что у человеческих характеров, как и у некоторых зданий, несколько фасадов, причем не все они приятны на вид.

293

Умеренность не имеет права хвалиться тем, что она одолевает честолюбие и подчиняет его себе. Умеренность — это душевная бездеятельность и лень. тогда как честолюбие — это живость и горячность, и они никогда не живут вместе.

294

Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы.

295

Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим.

Трудно любить тех, кого мы совсем не уважаем, но еще труднее любить тех, кого уважаем больше, чем самих себя.

Соки нашего тела, совершая свой обычный и неизменный круговорот, тайно приводят в действие и направляют нашу волю; сливаясь в единый поток, они незаметно властвуют над нами, воздействуя на все наши поступки.

Признательность большинства людей порождена скрытым желанием добиться еще бóльших благодеяний.

Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения, большинство бывает признательно за немаловажные, но почти никто не чувствует благодарности за крупные.

Иные безрассудства распространяются точно заразные болезни.

Многие презирают жизненные блага, но почти никто не способен ими поделиться.

302

Мы лишь тогда осмеливаемся проявлять неверие в силу и влияние небесных светил, когда речь идет о делах несущественных.

303

Какие бы похвалы нам ни расточали, мы не находим в них ничего для себя нового.

304

Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами.

305

Своекорыстие винят во всех наших преступлениях, забывая при этом, что оно нередко заслуживает похвалы за наши добрые дела.

306

Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью.

307

Воздавать должное своим достоинствам наедине с собою столь же разумно, сколь смехотворно превозносить их в присутствии других.

Умеренность провозгласили добродетелью для того, чтобы обуздать честолюбие великих людей и утешить людей незначительных, обладающих лишь скромным достоянием и скромными достоинствами.

Есть люди, которым на роду написано быть глупцами: они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы.

Бывают в жизни положения, выпутаться из которых можно только с помощью изрядной доли безрассудства.

Если и есть на свете люди, которые никогда не казались смешными, то это значит лишь, что никто не старался отыскать в них смешные черты.

Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они все время говорят о себе.

Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но не способны за-

помнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу?

314

Необычайное удовольствие, с которым мы говорим о себе, должно было бы внушить нам подозрение, что наши собеседники его отнюдь не разделяют.

315

Нашей полной откровенности с друзьями мешает обычно не столько недоверие к ним, сколько недоверие к самим себе.

316

Люди слабохарактерные не способны быть прямодушными.

317

Невелика беда — услужить неблагодарному, но большое несчастье — принять услугу от подлеца.

318

Можно излечить от безрассудства, но нельзя выпрямить кривой ум.

319

Нам ненадолго хватило бы добрых чувств, которые мы должны питать к нашим друзьям

и благодетелям, если бы мы позволяли себе вволю говорить об их недостатках.

320

Восхвалять государей за достоинства, которыми они не обладают,— значит безнаказанно наносить им оскорбление.

321

Нам легче полюбить тех, кто нас ненавидит, нежели тех, кто любит сильнее, чем нам хочется.

322

Боятся презрения лишь тот, кто его заслуживает.

323

Наше здравомыслие так же подвластно случаю, как и богатство.

324

В ревности больше себялюбия, чем любви.

325

Слабость характера нередко утешает нас в таких несчастьях, в каких бессилён утешить разум.

326

Смешное наносит чести больший ущерб, чем само бесчестие.

327

Признаваясь в маленьких недостатках, мы тем самым стараемся убедить окружающих в том, что у нас нет крупных.

328

Зависть еще непримиримее, чем ненависть.

329

Иногда людям кажется, что они ненавидят лесть, в то время как им ненавистна лишь та или иная ее форма.

330

Пока люди любят, они прощают.

331

Труднее хранить верность той женщине, которая дарит счастье, нежели той, которая причиняет мучения.

332

Женщины не сознают всей беспредельности своего кокетства.

333

Непреклонная строгость поведения противна женской натуре.

334

Женщине легче преодолеть свою страсть, нежели свое кокетство.

335

В любви обман почти всегда заходит дальше недоверия.

336

Бывает такая любовь, которая в высшем своем проявлении не оставляет места для ревности.

337

Иные достоинства подобны зрению или слуху: люди, лишенные этих достоинств, не способны увидеть и оценить их в окружающих.

338

Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим.

339

Счастье и несчастье мы переживаем соразмерно нашему себялюбию.



Ум у большинства женщин служит не столько для укрепления их благоразумия, сколько для оправдания их безрассудств.

Равнодушие старости не более способствует спасению души, чем пылкость юности.

Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился.

Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что предлагает судьба.

Многие люди, подобно растениям, наделены скрытыми свойствами; обнаружить их может только случай.

Только стечение обстоятельств открывает нашу сущность окружающим и, главное, нам самим.

Не может быть порядка в уме и сердце женщины, если ее темперамент с ними не в ладу.

347

Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые во всем с нами согласны.

348

Когда человек любит, он часто сомневается в том, во что больше всего верит.

349

Величайшее чудо любви в том, что она излечивает от кокетства.

350

Мы потому возмущаемся людьми, которые с нами лукавят, что они считают себя умнее нас.

351

Когда люди уже не любят друг друга, им трудно найти повод для того, чтобы разойтись.

352

Нам почти всегда скучно с теми людьми, с которыми не полагается скучать.

353

Человек истинно достойный может быть влюблен как безумец, но не как глупец.

Иные недостатки, если ими умело пользоваться, сверкают ярче любых достоинств.

Мы иногда теряем людей, о которых не столько жалеем, сколько печалимся; однако бывает и так, что мы нисколько не печалимся, хотя и жалеем об утрате.

Чистосердечной похвалой мы обычно награждаем лишь тех, кто нами восхищается.

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются.

Истинный признак христианских добродетелей — это смирение; если его нет, все наши недостатки остаются при нас, а гордость только скрывает их от окружающих и нередко от нас самих.

Неверность должна была бы убивать любовь, и не следовало бы ревновать тогда, когда к этому есть основания: ревности достоин лишь тот, кто старается ее не вызывать.

360

Мельчайшую неверность в отношении нас мы судим куда суровее, чем самую коварную измену в отношении других.

361

Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает.

362

Когда женщина оплакивает своего возлюбленного, это чаще всего говорит не о том, что она его любила, а о том, что она хочет казаться достойной любви.

363

Иной раз нам не так мучительно покориться принуждению окружающих, как самим к чему-то себя принудить.

364

Всем достаточно известно, что не подобает человеку говорить о своей жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о себе.

365

Иные достоинства вырождаются в недостатки, если они присущи нам от рождения, а другие никогда не достигают совершенства, если они

благоприобретенные; так, например, бережливость и осмотрительность нам должен внушить разум, но доброту и доблесть должна подарить природа.

366

Как бы мало мы ни доверяли нашим собеседникам, нам все же кажется, что с нами они искреннее, чем с кем бы то ни было.

367

На свете мало порядочных женщин, которым не опостылела бы их добродетель.

368

Почти все порядочные женщины — это нетронутые сокровища, которые только потому в неприкосновенности, что их никто не ищет.

369

Усилия, которые мы прилагаем, чтобы не влюбиться, порою причиняют нам больше мучений, чем жестокость тех, в кого мы уже влюбились.

370

Труссы обычно не сознают всей силы своего страха.

371

Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил.

## 372

Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле они просто невоспитанны и грубы.

## 373

Иной раз, проливая слезы, мы ими обманываем не только других, но и самих себя.

## 374

Весьма заблуждается тот, кто думает, будто он любит свою любовницу только за ее любовь к нему.

## 375

Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их понимания.

## 376

Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь — кокетства.

## 377

Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо нее.

## 378

Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению.

379

Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать.

380

Как все предметы лучше всего видны на свету, так наши добродетели и пороки отчетливее всего выступают в лучах удачи.

381

Верность, которую удастся сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены.

382

Наши поступки подобны строчкам буримы: каждый связывает их с чем ему заблагорассудится.

383

Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить о себе и выставить свои недостатки в благоприятном свете.

384

Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь еще удивляться.

385

Одинаково трудно угодить и тому, кто любит очень сильно, и тому, кто уже совсем не любит.

Как раз те люди, которые во что бы то ни стало хотят всегда быть правыми, чаще всего бывают неправы.

Глупец не может быть добрым: для этого у него слишком мало мозгов.

Если тщеславие и не повергает в прах все наши добродетели, то, во всяком случае, оно их колеблет.

Мы потому так нетерпимы к чужому тщеславию, что оно уязвляет наше собственное.

Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти.

Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи.

С судьбой следует обходиться, как со здоровьем: когда она нам благоприятствует — наслаж-



даться ею, а когда начинает капризничать — терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам.

393

Мещанские замашки порою скрадываются в кругу военных, но они всегда заметны при дворе.

394

Можно перехитрить кого-то одного, но нельзя перехитрить всех на свете.

395

Порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду.

396

Женщина долго хранит верность первому своему любовнику, если только не берет второго.

397

Мы не дерзаем огульно утверждать, что у нас совсем нет пороков, а у наших врагов совсем нет добродетелей, но в каждом отдельном случае мы почти готовы этому поверить.

398

Мы охотнее признаёмся в лени, чем в других наших недостатках; мы внушили себе, что

она проистекает из наших миролюбивых добродетелей и, не нанося большого ущерба прочим достоинствам, лишь умеряет их проявление.

399

Людам иной раз присуща величавость, которая не зависит от благосклонности судьбы: она проявляется в манере держать себя, которая выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее, а также в той оценке, которую он невольно себе дает. Именно это качество привлекает к нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы возвысить ни происхождение, ни сан, ни даже добродетели.

400

Достоинствам не всегда присуща величавость, но величавости всегда присущи хоть какие-нибудь достоинства.

401

Величавость так же к лицу добродетели, как драгоценный убор к лицу красивой женщине.

402

В волокитстве есть все, что угодно, кроме любви.

403

Чтобы возвысить нас, судьба порой пользуется нашими недостатками; так, например, иные

беспокойные люди были вознаграждены по заслугам только потому, что все старались любой ценой отделаться от них.

404

По-видимому, природа скрывает в глубинах нашей души способности и дарования, о которых мы и сами не подозреваем; только страсти пробуждают их к жизни и порою сообщают нам такую пронизательность и твердость, каких при обычных условиях мы никогда не могли бы достичь.

405

Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.

406

Кокетки притворяются, будто ревнуют своих любовников, желая скрыть, что они просто завидуют другим женщинам.

407

Когда нам удастся надуть других, они редко кажутся нам такими дураками, какими кажемся мы самим себе, когда другим удастся надуть нас.

В особенно смешное положение ставят себя те старые женщины, которые помнят, что когда-то были привлекательны, но забыли, что давно уже утратили былое очарование.

Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков, если бы окружающим были известны наши побуждения.

Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу наши недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.

Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть.

Каким бы тяжелым позором мы себя ни покрыли, у нас почти всегда остается возможность восстановить свое доброе имя.

Не может долго нравиться тот, кто умен всегда на один лад.

414

Дуракам и безумцам весь мир представляется в свете их сумасбродства.

415

Ум служит нам порою лишь для того, чтобы смело делать глупости.

416

Горячность, которая с годами все возрастает, уже граничит с глупостью.

417

Тот, кто излечивается от любви первым, всегда излечивается полнее.

418

Молодым женщинам, не желающим прослыть кокетками, и пожилым мужчинам, не желающим казаться смешными, следует говорить о любви так, словно они к ней не причастны.

419

Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже наших достоинств, но мы нередко кажемся ничтожными, занимая положение, слишком для нас высокое.

Нам часто представляется, что мы стойки в несчастии, хотя на самом деле мы только угнетены; мы переносим его, не смея на него взглянуть, как трусы, которым так страшно защищаться, что они готовы дать себя убить.

Больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие.

Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь.

Как мало на свете стариков, владеющих искусством быть стариками!

Нам нравится наделять себя недостатками, противоположными тем, которые присущи нам на самом деле: слабохарактерные люди, например, любят хвастаться упрямством.

Проницательность придает нам такой многозначительный вид, что она льстит нашему тщеславию больше, чем все прочие качества ума.

Прелесть новизны и долгая привычка, при всей их противоположности, одинаково мешают нам видеть недостатки наших друзей.

Большинство друзей внушает отвращение к дружбе, а большинство людей благочестивых — к благочестию.

Мы охотно прощаем нашим друзьям недостатки, которые нас не задевают.

Влюбленная женщина скорее простит большую нескромность, нежели маленькую неверность.

На старости любви, как и на старости лет, люди еще живут для скорбей, но уже не живут для наслаждений.

Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным.

Чистосердечно хвалить добрые дела — значит до некоторой степени принимать в них участие.

433

Вернейший признак высоких добродетелей — от самого рождения не знать зависти.

434

Будучи обмануты друзьями, мы можем равнодушно принимать проявления их дружбы, но должны сочувствовать им в их несчастьях.

435

Миром правят судьба и прихоть.

436

Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности.

437

О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется.

438

Наша благодарность иногда бывает так велика, что, расплачиваясь с друзьями за сделанное нам добро, мы еще оставляем их у себя в долгу.

439

У нас нашлось бы очень мало страстных желаний, если бы мы точно знали, чего мы хотим.



Женщины в большинстве своем оттого так безразличны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью.

В дружбе, как и в любви, чаще доставляет счастье то, чего мы не знаем, нежели то, что нам известно.

Мы стараемся вменить себе в заслугу те недостатки, которых не желаем исправлять.

Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, и только тщеславие терзает нас неотступно.

Старые безумцы еще безумнее молодых.

Слабохарактерность еще дальше от добродетели, чем порок.

Стыд и ревность потому причиняют нам такие муки, что тут бессильно помочь даже тщеславие.

447

Приличие — это наименее важный из всех законов общества и наиболее чтимый.

448

Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродам, чем управлять ими.

449

Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не могли и мечтать, то почти всегда оказывается, что мы не в состоянии достойно держаться в новом положении.

450

Наша гордыня часто возрастает за счет недостатков, которые нам удалось преодолеть.

451

Нет глупцов более несносных, чем те, которые не вовсе лишены ума.

452

Нет на свете человека, который не оценил бы любое свое качество куда выше, чем подобное же качество у другого, даже самого уважаемого им человека.

453

В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные

возможности, сколько о том, чтобы их не упустить.

454

Никто не прогадал бы, согласившись на то, чтобы о нем перестали говорить хорошо, при условии, что не станут говорить дурно.

455

Как ни склонны люди к неправильным суждениям, все же несправедливость к подлинным достоинствам они проявляют реже, чем благосклонность к мнимым.

456

Глупые люди могут иной раз проявить ум, но к здравому суждению они неспособны.

457

Мы выиграли бы в глазах людей, если бы являлись им такими, какими мы всегда были и есть, а не прикидывались такими, какими никогда не были и не будем.

458

Суждения наших врагов о нас ближе к истине, чем наши собственные.

459

Существуют разные лекарства от любви, но нет ни одного надежного.

460

Мы и не представляем себе, на что могут нас толкнуть наши страсти.

461

Старость — это тиран, который под страхом смерти запрещает нам все наслаждения юности.

462

Гордыня, заставляющая нас порицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас нет, велит нам также презирать и отсутствующие у нас достоинства.

463

Сочувствие врагам, попавшим в беду, чаще всего бывает вызвано не столько добротой, сколько гордыней: мы соболезуем им для того, чтобы они поняли наше превосходство над ними.

464

Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать.

465

Насколько преступление легче находит себе покровителей, нежели невинность!

466

Все бурные страсти не к лицу женщинам, но менее других им не к лицу любовь.

467

Тщеславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум.

468

Порою из дурных качеств складываются великие таланты.

469

Мы никогда не стремимся страстно к тому, к чему стремимся только разумом.

470

Все наши качества, дурные, равно как и хорошие, неопределенны и сомнительны, и почти всегда они зависят от милости случая.

471

Когда женщина влюбляется впервые, она любит своего любовника; в дальнейшем она любит уже только любовь.

472

У гордости, как и у других страстей, есть свои причуды: люди стараются скрыть, что они рев-

нуют сейчас, но хвалятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать и впредь.

473

Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже.

474

Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту.

475

Желание вызвать жалость или восхищение — вот что нередко составляет основу нашей откровенности.

476

Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, которому мы завидуем.

477

Твердость характера заставляет людей сопротивляться любви, но в то же время она сообщает этому чувству пылкость и длительность; люди слабые, напротив, легко загораются страстью, но почти никогда не отдаются ей с головой.

478

Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце.

Истинно мягкими могут быть только люди с твердым характером; у остальных же кажущаяся мягкость — это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в озлобленность.

Опасно упрекать в робости тех, кого хотят от нее исцелить.

Нет качества более редкого, чем истинная доброта: большинство людей, считающих себя добрыми, только снисходительны или слабы.

Наш разум, по своей лени и косности, занят обычно лишь тем, что ему легко и приятно; эта привычка ограничивает наши познания, и никто еще не дал себе труда обогатить и расширить свой разум до пределов возможного.

Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия.

Пока угасающая страсть все еще волнует наше сердце, оно более склонно к новой любви, чем впоследствии, когда наступает полное исцеление.

485

Те, кому довелось пережить большие страсти, потом всю жизнь и радуются своему исцелению, и горюют о нем.

486

Люди независтливые встречаются еще реже, чем бескорыстные.

487

Наш ум ленивее, чем тело.

488

Наше душевное спокойствие или смятение зависят не столько от важнейших событий нашей жизни, сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей.

489

Как ни злы люди, они все же не осмеливаются открыто преследовать добродетель. Поэтому, готовясь напасть на нее, они притворяются, будто считают ее лицемерной, или же приписывают ей какие-нибудь преступления.

490

Люди часто изменяют любви ради честолюбия, но потом уже никогда не изменяют честолюбию ради любви.



Непомерная скупость почти всегда ошибается в своих расчетах: она чаще, чем все другие страсти, уходит от цели, к которой стремится, и оказывается во власти настоящего в ущерб будущему.

Скупость нередко приводит к самым противоречивым следствиям: многие люди приносят все свое состояние в жертву отдаленным и сомнительным надеждам, другие же пренебрегают крупными выгодами в будущем ради мелочной сегодняшней наживы.

Людам, видно, мало своих недостатков: они еще умножают их всевозможными чудачествами, которыми словно бы даже гордятся; эти странности, взращенные с таким усердием, становятся в конце концов природными недостатками, и отделаться от них уже невозможно.

Насколько ясно люди понимают свои ошибки, видно из того, что, рассказывая о своем поведении, они всегда умеют выставить его в благоприятном свете: то самое самолюбие, которое обычно ослепляет их ум, в этом случае придает ему такую зоркость и проницательность, что им удается ловко утаить или смягчить любую мелочь, способную вызвать неодобрение.

Впервые вступая в свет, молодые люди должны быть застенчивы или даже неловки: уверенность и непринужденность манер обычно оборачиваются наглостью.

Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне.

Быть молодой, но некрасивой так же неутешительно для женщины, как быть красивой, но немолодой.

Есть люди, столь ветреные и легковесные, что у них не может быть ни крупных недостатков, ни подлинных достоинств.

Молва припоминает женщине ее первого любовника обычно лишь после того, как она завела себе второго.

Есть люди, столь поглощенные собой, что, влюбившись, они ухитряются больше думать о собственной любви, чем о предмете своей страсти.

Как ни приятна любовь, все же ее внешние проявления доставляют нам больше радости, чем она сама.

Ум ограниченный, но здоровый в конце концов не так утомителен в собеседнике, как ум широкий, но путаный.

Терзания ревности — самые мучительные из человеческих терзаний и к тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет.

После всех рассуждений о лицемерности многих показных добродетелей нужно сказать несколько слов и о лицемерности презрения к смерти. Я имею в виду то презрение, о котором говорят безбожники, похваляясь, что черпают его не в уповании на лучшую жизнь, а в своей собственной неустрашимости. Между стойким приятием смерти и презрением к ней — огромная разница: первое встречается довольно часто, второе же, по моему мнению, не бывает искренним никогда. Правда, было написано множество убедительных трактатов, в которых доказывалось, что смерть совсем не страшна; самые слабые люди, точно так же, как славнейшие герои, явили тысячи знаменитых примеров, подтверждающих такой взгляд. Я убежден, однако, что

его никогда не разделял ни один здравомыслящий человек. Настойчивость, которую проявляют приверженцы этого взгляда, пытаюсь внушить его другим и самим себе, уже говорит о том, что эта задача не из легких. Можно по каким-либо причинам питать отвращение к жизни, но нельзя презирать смерть. Даже люди, добровольно обрекающие себя на нее, отнюдь не считают смерть такой уж малостью; напротив, они, как и все остальные, страшатся, а порой и отвергают ее, если она приходит к ним не той дорогой, какую они для нее избрали. Колебания, которым подвержено мужество доблестнейших людей, объясняется именно тем, что смерть не всегда рисуется их воображению с одинаковой яркостью. Все дело в том, что они презирают смерть, пока не постигли ее, но, постигнув, поддаются страху. Следует всячески избегать мыслей о ней и обо всем, что ее окружает, иначе она покажется нам величайшим бедствием. Самые смелые и самые разумные люди — это те, которые под любыми благовидными предложениями стараются не думать о смерти. Всякий, кому довелось узнать ее такой, какова она в действительности, понимает, что она ужасна. Единственным источником стойкости для философов всех времен являлась неизбежность смерти. Они считали необходимым с готовностью идти туда, куда не могли не идти, и, будучи не в состоянии навеки сохранить свою жизнь, изо всех сил старались увековечить хотя бы свою славу и спасти от крушения все, что возможно. Ограничимся же тем, что ради сохранения нашего достоинства не станем даже самим себе признаваться в наших мыслях о смерти и возложим все надежды на бодрость нашего духа, а не на шаткие рассужде-

ния о том, будто к ней следует приближаться безбоязненно. Желание стяжать себе славу стойкой смертью, утешительные мысли о печали окружающих, надежда оставить после себя доброе имя, уверенность в освобождении от жизненных тягот и прихотей судьбы — все это недурные средства, но ни одно из них нельзя считать надежным. От них не больше проку, чем от деревянной изгороди для солдат, которым нужно перебежать поле под огнем врага. Пока изгородь далеко, людям кажется, что она может их защитить, но по мере приближения к ней они начинают понимать, что защита эта непрочна. Было бы слишком самонадеянно с нашей стороны думать, что смерть и вблизи покажется нам такой же, какой мы видели ее издали, и что наши чувства, имя которым — слабость, достаточно закалены, чтобы позволить нам бестрепетно пройти через самое тяжкое из всех испытаний. Равным образом и на самолюбие может рассчитывать лишь тот, кто его не понимает: оно не способно заставить нас легко отнестись к событию, которое ему же несет гибель. Наконец, разум, в котором многие надеются найти поддержку, слишком слаб, чтобы при встрече со смертью мы могли на него опереться. Наоборот, он особенно часто предает нас и, вместо того чтобы научить презрению к смерти, ярко освещает все, что есть в ней ужасного и отталкивающего. Единственное, что в его силах, — это посоветовать нам отвести от нее взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам, а не так давно некий лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом эшафоте, где его должны были колесовать. Невзирая на то, что способы

различны,— результат один и тот же. Хотя разница между великими людьми и людьми заурядными огромна, те и другие, как явствует из множества примеров, нередко принимают смерть одинаково. Впрочем, есть и отличие: у великих людей презрение к смерти вызвано ослепляющей их любовью к славе, а у людей простых — ограниченностью, которая не позволяет им постичь всю глубину ожидающего их несчастья и дает возможность думать о вещах посторонних.

### МАКСИМЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ ПОСМЕРТНО

505

Дарования, которыми господь наделил людей, так же разнообразны, как деревья, которыми он украсил землю, и каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. Потому-то лучшее грушевое дерево никогда не родит даже дрянных яблок, а самый даровитый человек пасует перед делом хотя и заурядным, но дающимся только тому, кто к этому делу способен. И потому сочинять афоризмы, не имея хоть небольшого таланта к занятию такого рода, не менее смехотворно, чем ожидать, что на грядке, где не высажены луковицы, зацветут тюльпаны.

506

Разновидностей тщеславия столько, что и считать не стоит.

Свет полон горошин, которые издеваются над бобами.

Кто слишком высоко ценит благородство своего происхождения, тот недостаточно ценит дела, которые некогда легли в его основу.

В наказание за первородный грех бог дозволил человеку сотворить кумир из самолюбия, чтобы оно терзало его на всех жизненных путях.

Своекорыстие — душа нашего сознания: подобно тому как тело, лишенное души, не видит, не слышит, не сознает, не чувствует и не движется, так и сознание, разлученное, если дозволено употребить такое выражение, со своекорыстием, не видит, не слышит, не чувствует и не действует. Потому-то и человек, который во имя своей выгоды скитается по морям и землям, вдруг как бы цепенеет, едва речь заходит о выгоде ближнего; потому-то внезапно погружаются в дремоту и словно отлетают в иной мир те, кому мы рассказываем о своих делах, и так же внезапно просыпаются, стоит им почуять в нашем рассказе нечто, хотя бы отдаленно их затрагивающее. Вот и получается, что наш собеседник то теряет сознание, то приходит в себя, смотря по тому, идет ли дело о его выгоде или, напротив, не имеет к нему никакого касательства.

## 511

Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием.

## 512

Порой кажется, что сам дьявол придумал поставить леность на рубежах наших добродетелей.

## 513

Мы потому готовы поверить любым рассказам о недостатках наших ближних, что всего легче верить желаемому.

## 514

Исцеляет от ревности только полная уверенность в том, чего мы больше всего боялись, потому что вместе с нею приходит конец или нашей любви, или жизни; что и говорить, лекарство жестокое, но менее жестокое, чем недоверие и подозрение.

## 515

Где надежда, там и боязнь: боязнь всегда полна надежды, надежда всегда полна боязни.

## 516

Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду: мы и сами постоянно утаиваем ее от себя.



Мы чаще всего потому превратно судим о сентенциях, доказывающих лживость людских добродетелей, что наши собственные добродетели всегда кажутся нам истинными.

Преданность властям предержащим — лишь другая личина себялюбия.

Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру.

Философы порицают богатство лишь потому, что мы плохо им распоряжаемся. От нас одних зависит и приобретать, и пускать его в ход, не служа при этом пороку. Вместо того, чтобы с помощью богатства поддерживать и питать злодеяния, как с помощью дров питают пламя, мы могли бы отдать его на служение добродетелям, придав им тем самым блеск и привлекательность.

Крушение всех надежд человека приятно и его друзьям и недругам.

Поскольку всех счастливее в этом мире тот, кто довольствуется малым, то власть имущих и

честолюбцев надо считать самыми несчастными людьми, потому что для счастья им нужно несметное множество благ.

523

Человек ныне не таков, каким был создан, и вот убедительнейшее доказательство этому: чем разумнее он становится, тем больше стыдится в душе сумасбродства, низости и порочности своих чувств и наклонностей.

524

Сентенции, обнажающие человеческое сердце, вызывают такое возмущение потому, что людям боязно предстать перед светом во всей своей наготе.

525

Люди, которых мы любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами.

526

Мы часто клеймим чужие недостатки, но редко, оглядываясь на них, исправляем свои.

527

Человек так жалок, что, посвятив себя единственной цели — удовлетворению своих страстей, беспрестанно сетует на их тиранство; не желая выносить их гнет, он вместе с тем не желает и сделать усилие, чтобы сбросить его; ненавидя

страсти, не менее ненавидит и лекарства, их исцеляющие; восставая против терзаний недуга, встает и против тягот лечения.

528

Когда мы радуемся или печалимся, наши чувства соразмерны не столько удачам или бедам, доставшимся нам на долю, сколько нашей способности чувствовать.

529

Хитрость — признак недалекого ума.

530

Мы расточаем похвалы только затем, чтобы извлечь потом из них выгоду.

531

Людские страсти — это всего лишь разные склонности людского себялюбия.

532

Окончательно соскучившись, мы перестаем скучать.

533

Люди хвалят или бранят чаще всего то, что принято хвалить или бранить.

534

Множество людей притязают на благочестие, но никого не привлекает смирение.

535

Физический труд помогает забывать о нравственных страданиях; поэтому бедняки — счастливые люди.

536

Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает; в противном случае все облегчается тщеславием.

537

Смирение — это угодный богу алтарь для наших жертвоприношений.

538

Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало; вот почему почти все люди несчастны.

539

Нас мучит не столько жажда счастья, сколько желание прослыть счастливыми.

540

Легче убить желание в зародыше, чем потом ублажать все вожделения, им рожденные.

541

Ясный разум дает душе то, что здоровье — телу.

542

Так как великие мира сего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни душевного покоя, то все их благодеяния он всегда оплачивает по слишком дорогой цене.

543

Прежде чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого.

544

Истинный друг — величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся.

545

Любовники начинают видеть недостатки своих любовниц, лишь когда их увлечению приходит конец.

546

Благоразумие и любовь не созданы друг для друга: по мере того как растет любовь, уменьшается благоразумие.

547

Ревнивая жена порою даже приятна мужу: он хотя бы все время слышит разговоры о предмете своей любви.

548

Какой жалости достойна женщина, истинно любящая и притом добродетельная!

549

Мудрый человек понимает, что проще воспретить себе увлечение, чем потом с ним бороться.

550

Куда полезнее изучать не книги, а людей.

551

Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье — к несчастному.

552

Порядочная женщина — это скрытое от всех сокровище; найдя его, человек разумный не станет им хвалиться.

553

Кто очень сильно любит, тот долго не замечает, что он-то уже не любим.

554

Мы браним себя только для того, чтобы нас похвалили.

555

Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами.

556

Говорить всего труднее как раз тогда, когда стыдно молчать.

557

Как естественна и вместе с тем как обманчива вера человека в то, что он любим!

558

Нам приятнее видеть не тех людей, которые нам благодетельствуют, а тех, кому благодетельствуем мы.

559

Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие.

560

Возобновленная дружба требует больше забот и внимания, чем дружба, никогда не прерывавшаяся.

Куда несчастнее тот, кому никто не нравится, чем тот, кто не нравится никому.

Старость — вот преисподняя для женщин.

**МАКСИМЫ,  
ИСКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ  
ИЗ ПЕРВЫХ ИЗДАНИЙ**

Себялюбие — это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо. Оно побуждает людей обоготворять себя и, если судьба им поворачивает, тиранить других; довольство оно находит лишь в себе самом, а на всем постороннем останавливается, как пчела на цветке, стараясь извлечь из него пользу. Ничто не сравнится с неистовством его желаний, скрытностью умыслов, хитроумием поступков; его способность подлаживаться невообразима, перевоплощения посрамляют любые метаморфозы, а умение придать себе чистейший вид превосходит любые уловки химии. Глубина его пропастей безмерна, мрак непроницаем. Там, укрытое от любопытных глаз, оно совершает свои неприметные круговращения, там, незримое порою даже самому себе, оно, не ведая того, зачинает, вынашивает, вскармливает своими соками множество приятней и неприятней и потом производит на свет таких чудищ, что либо искренне не признает их своими, либо предпочитает от них отречься. Из



тьмы, окутывающей его, возникают нелепые самообольщения, невежественные, грубые, дурацкие ошибки на свой счет, рождается уверенность, что чувства его умерли, когда они только дремлют, убеждение, что ему никогда больше не захочется бегать, если в этот миг оно расположено отдыхать, вера, что оно утратило способность желать, если все его желания временно удовлетворены. Однако густая мгла, скрывающая его от самого себя, ничуть не мешает ему отлично видеть других, и в этом оно похоже на наши телесные глаза, зоркие к внешнему миру, но слепые к себе. И действительно, когда речь идет о заветных его замыслах или важных предприятиях, оно мгновенно настораживается и, побуждаемое страстной жаждой добиться своего, видит, чувствует, слышит, догадывается, подозревает, проникает, улавливает с такой безошибочностью, что мнится, будто не только оно, но и каждая из его страстей наделена поистине магической проницательностью. Привязанности его так сильны и прочны, что оно не в состоянии избавиться от них, даже если они грозят ему неисчислимыми бедами, но иногда оно вдруг с удивительной легкостью и быстротой разделяется с чувствами, с которыми упорно, но безуспешно боролось многие годы. Отсюда можно с полным основанием сделать вывод, что не чья-то красота и достоинства, а оно само распаляет свои желания и что лишь его собственный вкус придает цену вожделенному предмету и наводит на него глянец. Оно гонится не за чем-либо, а лишь за самим собой и, добиваясь того, что ему по праву, ублажает свой собственный нрав. Оно соткано из противоречий, оно властно и покорно, искренне и лицемерно, сострадательно и жестоко, роб-

ко и дерзновенно, оно питает самые разные склонности, которые зависят от самых разных страстей, попеременно толкающих его к завоеванию то славы, то богатства, то наслаждений. Свои цели оно меняет вместе с изменением нашего возраста, благоденствия, опыта, но ему не важно, сколько этих целей, одна или несколько, ибо, когда ему нужно или хочется, оно может и посвятить себя одной, и отдаться поровну нескольким. Оно непостоянно и, не считая перемен, вызванных внешними обстоятельствами, то и дело рождает перемены из собственных своих глубин: оно непостоянно от непостоянства, от легкомыслия, от любви, от жажды нового, от усталости, от отвращения. Оно своенравно, поэтому порою, не зная отдыха, усердно трудится, добиваясь того, что ему не только невыгодно, но и прямо вредоносно, однако составляет предмет его желаний. Оно полно причуд и часто весь свой пыл отдает предприятиям самым пустячным, находит удовольствие в том, что безмерно скучно, бахвалится тем, что достойно презрения. Оно существует у людей любого достатка и положения, живет повсюду, питается всем и ничем, может примениться к изобилию и лишениям, переходит даже в стан людей, с ним сражающихся, проникает в их замыслы и, что совсем уже удивительно, вместе с ними ненавидит самое себя, готовит свою гибель, добивается своего уничтожения,— словом, в заботе о себе и во имя себя становится своим собственным врагом. Но не следует недоумевать, если иной раз оно объявляет себя сторонником непреклонного самоотречения и, чтобы истребить себя, храбро вступает с ним в союз: ведь, погибая в одном облиии, оно воскресает в дру-

гом. Нам кажется, что оно отреклось от наслаждений, а на деле оно лишь отсрочило их или заменило другими; мы думаем, что оно побеждено, потерпело полное поражение, и вдруг обнаруживаем, что, напротив, даже сдав оружие, оно торжествует победу. Таков портрет себялюбия, чье существование исполнено непрерывных тревожений. Море с вечным приливом и отливом волн — вот точный образ себялюбия, неустанного движения его страстей и бурной смены его вожделений.

564

Сила всех наших страстей зависит от того, насколько холодна или горяча наша кровь.

565

Умеренность того, кому благоприятствует судьба,— это обычно или боязнь быть осмеянным за чванство, или страх перед потерей приобретенного.

566

Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде: съел бы еще, да страшно заболеть.

567

Мы любим осуждать людей за то, за что они осуждают нас.

568

Гордыня, сыграв в человеческой комедии подряд все роли и словно бы устав от своих уловок

и превращений, вдруг является с открытым лицом, высокомерно сорвав с себя маску; таким образом, высокомерие — это, в сущности, та же гордыня, во всеуслышанье заявляющая о своем присутствии.

569

Тот, кто одарен в малом, противоположен свойствами характера тому, кто способен к великому.

570

Человек, понимающий, какие несчастья могли бы обрушиться на него, тем самым уже до некоторой степени счастлив.

571

Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе.

572

Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, или так счастлив, как ему хочется.

573

Тайное удовольствие от сознания, что люди видят, до чего мы несчастны, нередко примиряет нас с нашими несчастьями.

574

Только зная наперед свою судьбу, мы могли бы наперед поручиться за свое поведение.

Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он не способен понять, чего ему хочется сейчас.

Любовь для души любящего означает то же, что душа — для тела, которое она одухотворяет.

Не в нашей воле полюбить или разлюбить, поэтому ни любовник не вправе жаловаться на ветреность своей любовницы, ни она — на его непостоянство.

Любовь к справедливости рождена живейшим беспокойством, как бы кто не отнял у нас нашего достоинства; оно-то и побуждает людей так заботливо оберегать интересы ближнего, так уважать их и так усердно избегать несправедливых поступков. Этот страх принуждает их довольствоваться благами, дарованными им по праву рождения или прихоти судьбы, а не будь его, они беспрестанно совершали бы набег на чужие владения.

Справедливость умеренного судьи свидетельствует лишь о его любви к своему высокому положению.

Люди не потому порицают несправедливость, что питают к ней отвращение, а потому, что она наносит ущерб их выгоде.

Перестав любить, мы радуемся, когда нам изменяют, тем самым освобождая нас от необходимости хранить верность.

Радость, охватывающая нас в первую минуту при виде счастья наших друзей, вызвана отнюдь не нашей природной добротой или привязанностью к ним: она просто вытекает из себялюбивой надежды на то, что и мы, в свою очередь, будем счастливы или хотя бы сумеем извлечь выгоду из их удачи.

В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя.

Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить?

Самое опасное следствие гордыни — это ослепление: оно поддерживает и укрепляет ее, мешая

нам найти средства, которые облегчили бы наши горести и помогли бы исцелиться от пороков.

586

Потеряв надежду обнаружить разум у окружающих, мы уже и сами не стараемся его сохранить.

587

Никто так не торопит других, как лентяи: ублажив свою лень, они хотят казаться усердными.

588

У нас столько же оснований сетовать на людей, помогающих нам познать себя, как у того афинского безумца жаловаться на врача, который исцелил его от ложной уверенности, что он — богач.

589

Философы, и в первую очередь Сенека, своими наставлениями отнюдь не уничтожили преступных людских помыслов, а лишь пустили их на постройку здания гордыни.

590

Не замечать охлаждения друзей — значит мало ценить их дружбу.

591

Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном; в делах значительных разум обычно им изменяет.

592

Самое причудливое безрассудство бывает обычно порождением самого утонченного разума.

593

Воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью много съесть.

594

Человеческие дарования подобны деревьям: каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды.

595

Быстрее всего мы забываем то, о чем нам прискучило говорить.

596

Когда люди уклоняются от похвал, это говорит не столько об их скромности, сколько о желании услышать более утонченную похвалу.

597

Люди порицают порок и превозносят добродетель только из своекорыстия.



Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях.

Красота, ум, доблесть под воздействием похвал расцветают, совершенствуются и достигают такого блеска, которого никогда бы не достигли, если бы остались незамеченными.

Себялюбие наше таково, что его не перещеголяет никакой льстец.

Люди не задумываются над тем, что запальчивость запальчивости рознь, хотя в одном случае она, можно сказать, невинна и вполне заслуживает снисхождения, ибо рождена пылкостью характера, а в другом — весьма греховна, потому что проистекает из неистовой гордыни.

Величием духа отличаются не те люди, у которых меньше страстей и больше добродетелей, чем у людей обыкновенных, а лишь те, у кого поистине великие замыслы.

Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и

все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу.

604

Даже прирожденная свирепость реже толкает на жестокие поступки, нежели себялюбие.

605

О всех наших добродетелях можно сказать то же, что некий итальянский поэт сказал о порядочных женщинах: чаще всего они просто умеют прикидываться порядочными.

606

То, что люди называют добродетелью, — обычно лишь призрак, созданный их вожделениями и носящий столь высокое имя для того, чтобы они могли безнаказанно следовать своим желаниям.

607

Мы так жаждем всё обратить в свою пользу, что видим добродетели в пороках, несколько схожих с ними по внешности и ловко переряженных нашим себялюбием.

608

Иные преступления столь громогласны и грандиозны, что мы оправдываем их и даже прославляем: так, обкрадыванье казны мы зовем ловкостью, а несправедливый захват чужих земель именуем завоеванием.

Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия.

Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи.

Человек, неспособный на большое преступление, с трудом верит, что другие вполне на него способны.

Пышность погребальных обрядов не столько увековечивает достоинства мертвых, сколько ублажает тщеславие живых.

Сквозь изменчивость и шаткость, как будто царящие в мире, проглядывает некое скрытое сцепление событий, некий извечно предопределенный Провидением порядок, благодаря которому все идет как положено по заранее предначертанному пути.

Чтобы вступить в заговор, нужна неколебимая отвага, а чтобы стойко переносить опасности войны, хватает обыкновенного мужества.

Кто захотел бы определить победу по ее родословной, тот поддался бы, вероятно, искушению назвать ее, вслед за поэтами, дочерью небес, ибо на земле ее корней не отыскать. И впрямь, победа — это итог множества деяний, имеющих целью отнюдь не ее, а частную выгоду тех, кто эти деяния совершает; вот и получается, что хотя люди, из которых состоит войско, думают лишь о собственной выгоде и возвышении, тем не менее они завоевывают величайшее всеобщее благо.

Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался опасности.

Людям куда легче ограничить свою благодарность, нежели свои надежды и желания.

Подражание всегда несносно, и подделка нам неприятна теми самыми чертами, которые пленяют в оригинале.

Глубина нашей скорби об утрате друзей сообразна порою не столько их достоинствам, сколько нашей нужде в этих людях, а также их высокому мнению о наших добродетелях.

Нелегко отличить неопределенное и равно ко всем относящееся благорасположение от хитроумной ловкости.

Неизменно творить добро нашим ближним мы можем лишь в том случае, когда они полагают, что не смогут безнаказанно причинить нам зло.

Чаще всего вызывают неприязнь те люди, которые твердо уверены во всеобщей приязни.

Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами нашего кругозора.

Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других.

Порою в обществе совершаются такие перевороты, которые меняют и его судьбы, и вкусы людей.

Истинность — вот первооснова и суть красоты и совершенства; прекрасно и совершенно лишь то, что, обладая всем, чем должно обладать, по истине таково, каким должно быть.

Иной раз прекрасные творения более привлекательны, когда они несовершенны, чем когда слишком законченны.

Великодушие — это благородное усилие гордости, с помощью которого человек овладевает собой, тем самым овладевая и окружающим.

Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают верную гибель государству, ибо свидетельствуют о том, что все частные лица пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о благе общественном.

Леность — это самая безотчетная из всех наших страстей. Хотя могущество ее неощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной. Если мы внимательно присмотримся к ее влиянию, то убедимся, что она неизменно ухитряется завладеть всеми нашими чувствами, желаниями и наслаждениями: она — как рыба-прилипала, останавливающая огромные суда, как мертвый штиль, более опасный для важнейших наших дел, чем любые рифы и штормы. В ленивом покое душа черпает тайную усладу, ради которой мы тут же забываем о самых горячих наших упованиях и самых твердых намерениях. Нако-

нец, чтобы дать истинное представление об этой страсти, добавим, что лень — это такой сладостный мир души, который утешает ее во всех утратах и заменяет все блага.

631

Судьба порой так искусно подбирает различные людские поступки, что из них рождаются добродетели.

632

Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.

633

Какая это скучная болезнь — оберегать свое здоровье чересчур строгим режимом!

634

Легче полюбить, когда никого не любишь, чем разлюбить, уже полюбив.

635

Большинство женщин сдается не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их слабость. Вот почему обычно имеют такой успех предприимчивые мужчины, хотя они отнюдь не самые привлекательные.

636

Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод.

Любовники берут друг с друга клятвы чисто-сердечно признаться в наступившем охлаждении не столько потому, что хотят немедленно узнать о нем, сколько потому, что, не слыша такого признания, они еще тверже убеждаются в неизменности взаимной любви.

Любовь правильнее всего сравнить с горячей: тяжесть и длительность и той и другой нисколько не зависят от нашей воли.

Высшее здравомыслие наименее здравомыслящих людей состоит в умении покорно следовать разумной указке других.

Мы всегда побаиваемся показаться на глаза тому, кого любим, после того как нам случилось приволокнуться на стороне.

Должен обрести успокоение тот, у кого хватило мужества признаться в своих поступках.



# Блез Паскаль

---

1623–1662





*Различие между познанием математическим и непосредственным.* — Начала математического познания отчетливы, но в обыденной жизни неупотребительны, поэтому с непривычки в них трудно вникнуть; зато всякому, кто вникнет, они совершенно очевидны, и только совсем дурной ум не способен построить правильного суждения на основе столь самоочевидных начал.

Начала непосредственного познания, напротив, распространены и общеупотребительны. Тут нет нужды во что-то вникать, делать над собой усилие, тут нужно другое — хорошее зрение, и не просто хорошее, а безупречное, ибо этих начал так много и они так разветвлены, что охватить их сразу почти невозможно. Меж тем пропустишь одно — и ошибка неизбежна. Вот почему нужна большая зоркость, чтобы увидеть все до единого, и ясный ум, чтобы, основываясь на столь известных началах, сделать потом правильные выводы.

Итак, обладай все математики зоркостью, они были бы способны к непосредственному познанию, ибо умеют делать правильные выводы из хорошо известных начал, а способные к непосредственному познанию были бы способны и к

математическому, если бы дали себе труд пристально взглянуть в непривычные для них математические начала.

Но такое сочетание встречается не часто, потому что человек, способный к непосредственному познанию, не пытается вникнуть в математические начала, а способный к математическому большей частью слеп к тому, что у него перед глазами; вдобавок, привыкнув делать заключения на основе хорошо им изученных точных и ясных математических начал, он теряется, столкнувшись с началами совсем иного порядка, на которых зиждется непосредственное познание. Они еле различимы, их скорее чувствуют, нежели видят, а кто не чувствует, того и учить вряд ли стоит: они так тонки и многообразны, что лишь человек, чьи чувства утонченны и безошибочны, улавливает и делает правильные, неоспоримые выводы из подсказанного чувствами; притом зачастую он не может доказать верность своих выводов пункт за пунктом, как принято в математике, ибо начала непосредственного познания не выстраиваются в ряд, как начала познания математического, и подобного рода доказательство было бы бесконечно сложно. Познаваемый предмет надо охватить сразу и целиком, а не изучать его постепенно, путем умозаключений — на первых порах, во всяком случае. Таким образом, математики редко бывают способны к непосредственному познанию, а познающие непосредственно — к математическому, так как первые пытаются подходить математически к тому, что доступно лишь непосредственному познанию, и приходят к абсурду, ибо хотят во что бы то ни стало начать с определений, а уже потом перейти к основным началам, меж тем как в

данном случае метода умозаключений ничего не дает. Это не значит, что разум вообще от них отказывается, нет, но он их делает незаметно, не напрягаясь, без всяких ухищрений; выразить словами сущность этой работы разума не может никто, да и понимание того, что она вообще происходит, доступно лишь немногим.

С другой стороны, когда перед человеком, познающим предмет непосредственно и привыкшим охватывать его единым взглядом, встают проблемы, ему совершенно непонятные и требующие для решения предварительного знакомства со множеством определений и непривычно сухих начал, он не только устрашается, но и отворачивается от них.

Что касается дурного ума, ему равно недоступно познание и математическое и непосредственное.

Стало быть, ум сугубо математический будет правильно работать, только если ему заранее известны все определения и начала, в противном случае он сбивается с толку и становится невыносимым, ибо правильно работает лишь на основе четко сформулированных начал.

А ум, познающий непосредственно, не способен терпеливо доискиваться первоначал, лежащих в основе чисто спекулятивных, отвлеченных понятий, с которыми он не сталкивается в обыденной жизни. и ему непривычных.

## 2

Разновидности здравого рассудка: бывает так, что человек, здраво рассуждающий о явлениях определенного порядка, несет вздор, когда вопрос касается явлений другого порядка.

Одни умеют делать множество выводов из немногих начал,— это свидетельство здравости рассудка.

Другие делают множество выводов из явлений, основанных на множестве начал.

Например, некоторые правильно выводят следствия из немногих начал, определяющих свойства воды, но для этого надо обладать большой здравостью ума, ибо следствия эти трудно различимы.

Люди, способные вывести столь сложные следствия, отнюдь не всегда хорошие математики, ибо математика заключает в себе множество начал, а бывает ум такого склада, что он способен постичь лишь немногие начала, но зато до самой их глубины, меж тем как явления, основанные на многих началах, для него непостижимы.

Стало быть, существуют два склада ума: один быстро и глубоко постигает следствия, вытекающие из того или иного начала, и его можно назвать проникательным умом; другой способен охватить множество начал, не путаясь в них,— это математический ум. В первом случае человек обладает умом сильным и здоровым, во втором — широким, и не всегда они сочетаются: человек может быть наделен умом сильным, но ограниченным или умом широким, но поверхностным.

### 3

Кто привык судить и оценивать по подсказке чувств, тот ничего не смыслит в логических умозаключениях, потому что стремится проникнуть в предмет исследования с первого взгляда и не

желает исследовать начала, на которых он зиждется. Напротив, кто привык изучать начала, тот ничего не смыслит в доводах чувства, потому что ищет, на чем же они основываются, и не способен охватить предмет единым взглядом.

#### 4

*Проникновение, математика.* — Истинное красноречие пренебрегает красноречием, истинная нравственность пренебрегает нравственностью, иными словами, нравственность оценивающая пренебрегает нравственностью рассудочной, не знающей никаких правил.

Ибо в оценке всегда присутствует чувство, равно как в выкладках разума — научные доводы. Проникновение свойственно оценивающему чувству, математический анализ — рассуждающему уму.

Пренебрежение философствованием и есть истинная философия.

#### 5

Кто оценивает произведение, не придерживаясь никаких правил, тот по сравнению с людьми, эти правила знающими, все равно что не имеющий часов по сравнению с человеком при часах. Первый заявит: «Прошло два часа», — другой возразит: «Нет, только три четверти», — а я посмотрю на часы и отвечу первому: «Вы, видно, скучаете», — и второму: «Прошло не три четверти часа, а полтора; время для вас бежит». А если мне скажут, что для меня оно тянется и вообще мое суждение основано на прихоти, я только посмеюсь: спорщики не знают, что оно основано на показаниях часов.

Чувство так же легко развратить, как ум.

И чувство и ум мы совершенствуем или, напротив, развращаем, беседуя с людьми. Стало быть, иные беседы совершенствуют нас, иные — развращают. Значит, следует тщательно выбирать собеседников; но это невозможно, если ум и чувство еще не развиты или не развращены. Вот и получается заколдованный круг, и счастлив тот, кому удастся выскочить из него.

Чем умнее человек, тем больше своеобразности он находит во всяком, с кем общается. Для человека заурядного все люди на одно лицо.

Если хотите спорить не втуне и переубедить собеседника, прежде всего уясните себе, с какой стороны он подходит к предмету спора, ибо эту сторону он обычно видит правильно. Признайте его правоту и тут же покажите, что, если подойти с другой стороны, он окажется неправ. Ваш собеседник охотно согласится с вами — ведь он не допустил никакой ошибки, просто чего-то не разглядел, а люди сердятся не тогда, когда не все видят, а когда допускают ошибку: возможно, это объясняется тем, что человек по самой своей природе не способен увидеть предмет сразу со всех сторон и в то же время по самой своей природе если уж видит, то видит правильно, ибо свидетельства наших чувств неоспоримы.



Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.

Внимая рассказу, со всей подлинностью живописующему какую-нибудь страсть или ее последствия, мы находим в себе подтверждение истинности услышанного, хотя до сих пор и не подозревали, что эта истина открыта нам, и начинаем любить того, кто помог нам увидеть ее в себе, ибо он открыл заложенное не в нем, а в нас самих. Таким образом, мы проникаемся приятностью к нему и потому, что он оказал нам великую услугу, и потому, что такое взаимопонимание всегда располагает сердце к любви.

Красноречие — это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием и чтобы, захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели поглубже в нее вникнуть.

Стало быть, оно состоит в умении установить связь между умами и сердцами наших слушателей и нашими собственными мыслями и словами, а это значит, что прежде всего мы должны хорошо изучить человеческое сердце, знать все его пружины, только тогда наша речь дойдет до него и его убедит. Поставим себя на место тех, кто нас слушает, и проверим на самих себе, верна ли избранная нами форма, гармонирует ли

она с темой, производит ли на собравшихся такое впечатление, что они не в силах ей противостоять. Надо по возможности сохранять простоту и естественность, не преувеличивать мелочей, не преуменьшать значительного. Форма должна быть изящна, но этого мало, она должна соответствовать содержанию и заключать в себе все необходимое, но только необходимое.

## 17

Реки — это дороги, которые и сами движутся и нас несут туда, куда мы держим путь.

## 18

Общее и укоренившееся заблуждение полезно людям, когда речь идет о чем-то им непонятном, — например, о Луне, влиянию которой приписывают и смену времен года, и моровые поветрия, и пр.: главный недуг человека — беспокойное любопытство ко всему, для него не постижимому, и уж лучше пусть он заблуждается, чем живет во власти такого бесполезного чувства.

## 19

Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать.

## 22

Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не с одинаковой меткостью.

С тем же успехом меня могут корить и за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли.

## 23

Иначе расставленные слова обретают другой смысл, иначе расставленные мысли производят другое впечатление.

## 24

*Язык.*— Отвлекать ум от начатого труда следует, только чтобы дать ему отдых, да и то не когда вздумается, а когда нужно, когда этому время: отдых, если он не вовремя, утомляет, а утомление отвлекает от труда. Вот как хитро плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требовалось, и при этом не платит ни малейшим удовольствием — той единственной монетой, ради которой мы готовы на все.

## 25

*Красноречие.*— Существенное должно сочетаться с приятным, но приятное следует черпать только в истинном.

## 26

Красноречие — это живописное изображение мысли; если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черточки, он создает не портрет, а картину.

*Разное. Язык.*— Кто не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется человеку, который ради симметрии делает ложные окна на стене: он думает не о точности слов, а о точности фигур.

Симметрия воспринимается с первого взгляда и основана на том, что, во-первых, нет резону без нее обходиться, а, во-вторых, человеческое тело тоже симметрично; именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту.

Когда читаешь произведение, написанное простым, натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься: рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком. Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, узнают в ее создателе человека, а узнали только автора. *Plus poetice quam humane locutus es*<sup>1</sup>. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие доказать ей, что она способна говорить обо всем, даже о теологии!

Мы браним Цицерона за напыщенный слог, меж тем у него есть почитатели, и в немалом числе.

---

<sup>1</sup> Ты сказал скорее как поэт, чем как человек (*лат.*).

Между нашей натурой,— не важно, сильна она или слаба,— и тем, что нам нравится, всегда есть некое сродство, которое и лежит в основе нашего образца приятности и красоты.

Все, что отвечает этому образцу, нам по душе: дом, напев, речь, стихи, женщина, птица, река, деревья, убранство комнат, одежда и т. д. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом не может понравиться.

И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, созданным в согласии с этим образцом, хотя каждый в своем роде, так есть сродство и между всем, что создано на основе дурного образца. Это вовсе не значит, что дурной образец один,— напротив, их великое множество; но, если взять, например, безвкусный сонет, то, какому бы дурному образцу он ни соответствовал, между ним и женщиной, одеждой по этому образцу, всегда есть сродство.

Чтобы уяснить себе, насколько смехотворен дурной сонет, довольно понять, какому образцу он соответствует, а затем представить себе дом или женский наряд, сработанный по тому же образцу.

*Поэтическая красота.*— Мы говорим «поэтические красоты», почему же не сказать «математические красоты», «медицинские красоты»? Но так не говорят, и причина этому в следующем: все знают, в чем заключается предмет математики и что он состоит в доказательствах, и в чем заключается предмет медицины и что он состоит в ис-

целении, но никто не знает, в чем заключается приятность, которая и есть предмет поэзии. Никто не знает, каков тот существующий в природе образец, которому следует подражать, и, за незнанием этого, придумывают такие замысловатые выражения, как «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и т. д., и называют это странное наречие «поэтическими красотами».

Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу,— а суть его в том, что любой пустяк облекается в пышные слова,— и вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и расхохочетесь, ибо куда понятнее, какова должна быть приятная женщина, чем каковы должны быть приятные стихи. Но те, у кого дурной вкус, станут восхищаться обличем этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Потому-то мы и называем сонеты, написанные по такому образцу, «первыми на деревне».

## 34

В свете не прослывешь знатоком поэзии, или математики, или любого другого предмета, если не повесишь вывески «поэт», «математик» и т. д. Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает различия между ремеслом поэта и золотошвеи.

К человеку всестороннему не пристаёт кличка поэта или математика и т. д., он и то и другое и может судить о любом предмете. Но это никому не бросается в глаза. Он легко присоединяется к любой беседе, которую застал, вошедши в дом. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надоб-

ность, но уж тут о нем немедленно вспоминают; точно так же не помнят, что он красноречив, пока не заговорят о красноречии, но стоит заговорить — и все сразу вспоминают, какой он хороший оратор.

Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он понаторел в поэзии, это отнюдь не похвала; с другой стороны, если беседа идет о стихах и никто не спрашивает его мнения,— это дурной знак.

### 35

Хорошо, когда кого-нибудь называют не математиком, или проповедником, или красноречивым оратором, а просто порядочным человеком. Мне по душе только это всеобъемлющее свойство. Очень плохо, когда при взгляде на человека сразу вспоминаешь, что он написал книгу. Я бы хотел, чтобы столь частное обстоятельство всплывало в памяти, лишь когда речь заходит об этом обстоятельстве (*Ne quid nimis*)<sup>1</sup>, иначе оно подменит собой человека и станет именем нарицательным; пусть говорят, что человек искусный оратор, только если разговор касается ораторского искусства,— но уж в этом случае пусть не забывают о нем.

### 36

У человека множество надобностей, и любит он только тех, кто в силах ублаготворить все до единой. «Такой-то — отличный математик», — скажут ему про кого-нибудь. «А на что мне ма-

---

<sup>1</sup> Ни в чем излишка (*лат.*).

тематик? Он, чего доброго, примет меня за теорему». — «А такой-то — отличный полководец». — «Еще того не легче! Он примет меня за осажденную крепость. А я ищу просто порядочного человека, который сделает для меня все, в чем я нуждаюсь».

## 41

*Эпиграммы Марциала.* — Людям по душе язвительная насмешка, но не над кривыми или обездоленными, а над спесивыми счастливыми. Тот заблуждается, кто думает иначе.

Ибо источник всех наших побуждений — корыстолюбие, с одной стороны, человеколюбие — с другой.

Надо добиваться одобрения людей человеколюбивых и мягкосердечных.

Эпиграмма на двух кривых никуда не годна, потому что им не дарует никакого утешения, меж тем автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. *Ambitiosa recidet ornamenta* <sup>1</sup>.

## 43

Говоря о своих трудах, иные авторы твердят: «Моя книга, мой комментарий, моя история». Они как те выскочки, которые обзавелись собственным домом и не устают повторять: «Мой особняк». Лучше бы говорили: «Наша книга, наш комментарий, наша история», ибо чаще всего там больше чужого, чем их собственного.

---

<sup>1</sup> Излишнюю пышность урежет (лат.).



Хотите, чтобы люди поверили в наши добродетели? Не хвалитесь ими.

Хороший острослов — дурной человек.

Иные люди отлично говорят, но пишут из рук вон плохо: обстановка и доброжелательные слушатели разжигают их ум и заставляют его работать живее, чем он работает без этого топлива.

Порою, подготовив речь, мы замечаем, что в ней повторяются одни и те же слова, пытаемся их заменить и только портим — настолько они были уместны; это знак, что всё надо оставить как есть: пусть себе зависть злорадствует, она слепа и не понимает, что порою повторение — не порок, ибо единого правила тут не существует.

Скрывать суть, надевать на нее личину. Не король, не папа, не епископ, а «державный монарх» и прочее, не Париж, а «столица державы». В иных местах Париж надо называть Парижем, в других — непременно именовать «столицей державы».

Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова — мыслям.

Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится все, что я в них вычитываю.

Достоинства Монтеня даются великим трудом. А недостатки — я говорю не о нравственных принципах — Монтень исправил бы шутя, укажи ему кто-нибудь, что он рассказывает слишком много побасенок и слишком много говорит о себе.

Познаём самих себя: пусть при этом мы не постигнем истины, зато наведем порядок в собственной жизни, а это для нас самое насущное дело.

*Тщета наук.* — Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основы нравственности утешат и при незнании науки о предметах внешнего мира.

Людей учат чему угодно, только не порядочности, между тем всего более они стараются

блеснуть порядочностью, а не ученостью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали.

69

*Две бесконечности, середина.*— Мы ничего не поймем, если будем читать слишком быстро или слишком медленно.

71

Слишком много и слишком мало вина: если вы совсем не дадите ему выпить, он не сможет постичь истину, если дадите сверх меры — то же самое.

72

*Несоразмерность человека.*— Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее быском и неохватном величии, пусть отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную; пусть уразумее, что Земля — всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило, пусть потрясается мыслью, что и сама эта огромная орбита — не более чем не приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду.

И так как кругозор наш этим ограничен, пусть воображение летит за рубежи видимого: оно утомится, так и не исчерпав природу. Весь зримый мир — лишь еле различимый штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее. Сколько бы мы ни раздвигали

пределы наших пространственных представлений, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, периферия нигде. И величайшее из постижимых проявлений всемогущества божия заключается в том, что перед этой мыслью в растерянности останавливается наше воображение.

А потом пусть человек снова подумает о себе и сравнит свое существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, выглядывая из чулана, отведенного ему под жилье, — я имею в виду зримый мир, — пусть уразумеет, чего стоит наша Земля со всеми ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности — что он значит?

А чтобы ему предстало не меньшее диво, пусть он взглянется в одно из мельчайших среди ведомых людям существ. Пусть взглянется в крошечное тельце клеща и в еще более крошечные члены этого тельца, пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки, ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях; пусть и дальше разлагает эти мельчайшие частицы, пока не иссякнет его воображение; и тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что меньшей величины в природе и не существует, а я хочу, чтобы он заглянул еще в одну бездну. Хочу нарисовать ему не только видимую Вселенную, но и бесконечность мыслимой природы в сжатых границах атома. Пусть человек представит себе неисчислимые Вселенные в этом атоме, и у каждой — свой небесный свод, и свои планеты, и своя Зем-

ля, и те же соотношения, что в зримом мире, и на этой Земле — свои животные и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить, не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от второго чуда, столь же поразительного в своей малости, как первое — в своей огромности. Ибо как не потрястись тем, что наше тело, столь неприметное во Вселенной, в то же время, вопреки этой своей неприметности на лоне сущего, являет собой колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием, которого не постичь никакому воображению!

Кто вдумается в это, тот содрогнется; представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия, он преисполнится трепета перед подобным чудом; и сдастся мне, что любознательность его сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание.

Ибо что такое человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей — конца мироздания и его начала, неприступных, скрытых от людского взора непроницаемой тайной, и равно не может постичь небытие, из которого возник, и бесконечность, в которой растворяется.

Он улавливает лишь видимость явлений, ибо не способен познать ни их начало, ни конец. Все возникает из небытия и уносится в бесконечность. Кто окинет взглядом столь необозримый путь? Это чудо постижимо только его творцу. И больше никому.

Люди, не задумываясь над этими бесконечностями, дерзновенно берутся исследовать природу, словно они хоть сколько-нибудь соразмерны с ней. Как не подивиться, когда в самонадеянности, безграничной, как предмет их исследований, они рассчитывают постичь начало сущего, а затем и все сущее? Ибо подобный замысел может быть рожден только самонадеянностью, всеобъемлющей, как природа, или столь же всеобъемлющим разумом.

Человек сведущий понимает, что природа запечатлела свой облик и облик своего творца на всех предметах и явлениях, и почти все они отмечены ее двойной бесконечностью. Поэтому ни одна наука никогда не исчерпает своего предмета, ибо кто же усомнится, что, например, в математике мы сталкиваемся с бесконечной бесконечностью соотношений? И начала, на которых они основаны, не только бесчисленны, но и бесконечно дробны, ибо кто ж не видит, что начала якобы предельные не висят в пустоте, они опираются на другие начала, а те, в свою очередь, опираются на третьи, отрицая таким образом существование предела? Тем не менее все, что нашему разуму представляется пределом, мы и принимаем за предел, равно как в мире материальных величин называем неделимой ту точку, которую уже не способны разделить, хотя по своей сути она бесконечно делима.

Из этих двух известных науке бесконечностей бесконечность больших величин более понятна человеческому разуму, поэтому лишь очень немногие ученые притязали на то, что охватили мироздание полностью. «Я повею речь о сущем», — говорил Демокрит.

Бесконечность в малом менее очевидна. Все

философы потерпели в этом вопросе поражение, хотя порой и утверждали, что изучили его. Отсюда и столь обычные названия — «О началах сущего», «Об основах философии» и подобные им, не менее напыщенные по сути, хотя и более скромные по форме, чем режущее глаз «De omni re scibili»<sup>1</sup>.

Мы простодушно считаем, что нам легче проникнуть к центру мироздания, нежели охватить его в целом. Его видимая протяженность явно превосходит нас, зато мы явно превосходим предметы ничтожно малые и поэтому считаем их постижимыми, хотя уразуметь небытие не легче, нежели уразуметь все сущее. И то и другое требует беспредельности разума, и кто постигнет зиждущее начало, тот, на мой взгляд, сможет постичь и бесконечность. Одно зависит от другого, одно влечет за собой другое. Эти крайности соприкасаются, сливаясь в божьего и только в божьего.

Уясним же, что мы такое: нечто, но не все; будучи бытием, мы не способны понять начало начал, возникающее из небытия, будучи бытием кратковременным, не способны охватить бесконечность.

В ряду познаваемого наши знания занимают не больше места, чем мы сами по всей природе.

Мы во всем ограничены, и положение меж двух крайностей определило и наши способности. Наши чувства не воспринимают ничего чрезмерного: слишком громкий звук нас оглушает, слишком яркий свет ослепляет, слишком большие или малые расстояния препятствуют зрению, слишком длинные или короткие рас-

---

<sup>1</sup> «Обо всем познаваемом» (лат.).

суждения — пониманию, слишком несомненная истина ставит в тупик (я знавал людей, которые так и не взяли в толк, что если от ноля отнять четыре, в результате получится ноль), начало начал кажется слишком очевидным, слишком острые наслаждения вредят здоровью, слишком сладостные созвучия неприятны, слишком большие благодеяния досадны: нам хочется отплатить за них с лихвой. *Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur*<sup>1</sup>. Мы не воспринимаем ни очень сильного холода, ни очень сильного жара. Чрезмерность неощутима и тем не менее нам враждебна: не воспринимая ее, мы от нее страдаем. Слишком юный и слишком преклонный возраст держат ум в оковах, равно как и слишком большие или малые познания. Словом, крайности как бы не существуют для нас, а мы — для них: либо они от нас ускользают, либо мы от них.

Таков наш удел. Мы не способны ни к всеобъемлющему познанию, ни к полному неведению. Плыдем по безбрежности, не ведая куда, что-то гонит нас, бросает из стороны в сторону. Стоит нам найти какую-то опору и укрепиться на ней, как она начинает колебаться, уходит из-под ног, а если мы бросаемся ей вдогонку, ускользает от нас, не дает приблизиться, и этой погоне нет конца. Вокруг нас нет ничего незыблемого. Да, таков наш природный удел, и вместе с тем он противен всем нашим склонностям: мы жаждем устойчивости, жаждем обрести наконец твердую

---

<sup>1</sup> Человек признателен за благодеяния лишь до тех пор, пока надеется отплатить за них; когда эта надежда исчезает, признательность превращается в ненависть (лат.).



почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной уходящую в бесконечность, но заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале — бездна.

Не будем же гнаться за уверенностью и устойчивостью. Изменчивая видимость будет всегда вводить в обман наш разум; конечное ни в чем не найдет прочной опоры меж двух бесконечностей, окружающих его, но недоступных его пониманию.

Кто твердо это усвоит, тот, я думаю, раз и навсегда откажется от попыток переступить границы, начертанные самой природой. Середина, данная нам в удел, одинаково удалена от обеих крайностей, так имеет ли значение — знает человек немного больше или меньше? Если больше, его кругозор немного шире, но разве не так же бесконечно далек он от цели, а срок его жизни — от вечности, чтобы десяток лет составлял для него разницу?

В сравнении с этими бесконечностями все конечные величины уравниваются, и я не вижу, почему наше воображение могло бы одну предпочесть другой. С какой бы из них мы ни соотнесли себя, все равно нам это мучительно.

Начни человек с изучения самого себя, он понял бы, что ему не дано выйти за собственные пределы. Мыслимо ли, чтобы часть познала целое! — Но, быть может, есть надежда познать хотя бы те части целого, с которыми он соизмерим? Но в мире все так переплетено и взаимосвязано, что познание одной части без другой и без всего в целом мне кажется невозможным.

Например, человек связан в этом мире со всем, что доступно его сознанию. Ему нужно пространство, в котором он находится, время, в

котором длится, движение, без которого нет жизни, элементы, из которых он состоит, тепло и пища, чтобы восстанавливать себя, воздух, чтобы дышать; он видит свет, ощущает предметы, — словом, ему все сопричастно. Следовательно, чтобы изучить человека, необходимо понять, зачем ему нужен воздух, а чтобы изучить воздух, необходимо понять, каким образом он связан с жизнью человека, и так далее. Без воздуха не может быть огня, следовательно, чтобы изучить одно, надо изучить и другое.

Итак, поскольку все в мире — причина и следствие, движитель и движимое, непосредственное и опосредованное, поскольку все скреплено природными и неосязаемыми узами, соединяющими самые далекие и непохожие явления, мне представляется невозможным познание частей без познания целого, равно как познание целого без досконального познания всех частей.

Наше бессилие проникнуть в суть вещей довершается их однородностью, меж тем как в нас самих сочетаются субстанции неоднородные, противоположные — душа и тело. Ибо то, что в нас мыслит, может быть только духовным; если же предположить, что мы целиком телесны, надо сделать вывод о полной невозможности познания, так как нет ничего абсурднее утверждения, будто материя сама себя познает: нам невозможно познать, каким путем она могла бы прийти к самопознанию.

Стало быть, если мы просто материальны, познание для нас совсем недоступно, а если в нас сочетаются дух и материя, мы не можем до конца познать явления однородные — только духовные или только телесные.

Поэтому почти все философы запутываются в

сути того, что нас окружает, и рассматривают дух как нечто телесное, а тела — как нечто духовное. Они необдуманно говорят, что тела стремятся упасть, что они влекутся к центру, стараются избежать уничтожения, бояться пустоты, что у них есть склонности, симпатии, антипатии, то есть наделяют их тем, что присуще только духу. А говоря о духе, они как бы ограничивают его в пространстве, заставляя перемещаться, хотя это свойственно лишь материальным телам.

Вместо того, чтобы воспринимать явления в чистом виде, мы окрашиваем их собственными свойствами и наделяем двойной природой то однородное, что нам удастся наблюдать.

Так как во всем, что нас окружает, мы усматриваем одновременно и дух и тело, то, казалось бы, это сочетание нам более чем понятно. Однако оно-то и есть наиболее непонятное. Человек — самое непостижимое для себя творение природы, ибо ему трудно уразуметь, что такое материальное тело, еще труднее — что такое дух, и уж совсем непонятно, как материальное тело может соединиться с духом. Нет для человека задачи неразрешимее, а между тем это и есть он сам: *Modus quo corporibus adhaerent spiritus comprehendendi ab hominibus non potest, et hoc tamen homo est*<sup>1</sup>.

## 77

Не могу простить Декарту: он очень хотел бы обойтись в своей философии без бога, но так и не обошелся, заставил его дать мирозданию щел-

---

<sup>1</sup> Человек неспособен постичь соединение духа с телом, а между тем это и есть человек (лат.).

чок и тем привести в движение, а потом бог стал ему ненадобен.

## 80

Почему нас не сердит тот, кто хром на ногу, но сердит тот, кто хром разумом? Дело простое: хромой признает, что мы не хромоноги, а недоумок считает, что это у нас ум с изъяном. Поэтому он и вызывает не жалость, а злость.

Эпиктет спрашивает еще прямее: «Почему мы не возмущаемся, когда говорят, будто у нас болит голова, но возмущаемся, когда говорят, что мы не умеем рассуждать или выбрать правильный путь?» Да потому, что твердо уверены,— голова у нас не болит и мы не хромы, но отнюдь не так уверены в правильности нашего выбора. Мы искренне верили в свою правоту, но вот встретили человека, который думает иначе, и сразу пришли в смущение, особенно если наш выбор показался нелепым не только одному, а множеству людей, ибо предпочесть собственное разумение разумению всех прочих и трудно, и чересчур дерзко. А в случае с хромым нам все ясно.

## 81

Нашему уму свойственно верить, а воле — хотеть; и если у них нет достойных предметов для веры и желания, они устремляются к недостойным.

## 82

*Воображение.*— Эта людская способность, вводящая в обман, сеющая ошибки и заблуждения,

еще и потому так коварна, что порою являет правду. Если бы воображение неизменно лгало, оно было бы неизменным мерилom истины. Но, хотя оно почти всегда нас обманывает, уличить его в этом невозможно, так как оно метит одной метой и правду и ложь.

Я говорю не о глупцах, а о людях самых здравомыслящих — они-то чаще всего и подпадают под власть воображения. Сколько бы ни возражал разум, он бессилен открыть им глаза на истинную цену вещей.

Могучее и надменное, враждующее с разумом, который старается надеть на него узду и подчинить себе, воображение, в знак своего всевластия, создало вторую натуру в человеке. Среди подданных воображения есть счастливы и несчастливы, святы, болящие, богачи, бедняки; оно принуждает разум верить, сомневаться, отрицать, умерщвляет чувства, обостряет их, умудряет людей, сводит с ума и, что всего досаднее, дарует своим любимцам такое полное и глубокое довольство, какого никогда не испытать питомцам разума. Те, кого талантами наделило воображение, исполнены самомнения, недоступного людям благоразумным. Первые на всех взирают свысока, спорят с непререкаемой уверенностью, тогда как вторые возражают робко и неуверенно; к тому же на лицах мнимых мудрецов всегда разлито веселье, невольно располагающее к ним слушателей, и, уж конечно, они пользуются наилучшей славой у судей их собственной породы. Воображению не дано вложить ум в глупцов, зато оно наделяет их счастьем, на зависть уму, чьи друзья всегда несчастны, и венчает успехом, тогда как ум способен лишь покрыть позором.

Кто создает репутации, кто окружает почетом и уважением людей, их творения и законы, сильных мира сего? Какой малостью показались бы земные блага, когда бы воображение не придавало им цену!

Не кажется ли вам, что этот судья, чья достойная старость внушает почтение всему народу, руководствуется лишь одним высоким, нелিপеприятным разумом и что суждения свои он составляет, вникая в суть и пренебрегая суетными обстоятельствами, которые действуют на воображение людей недалеких? Вот он входит в храм послушать проповедь, он преисполнен набожности, здравый смысл укреплен в нем милосердием. Вот он с примерным смирением приготовился внимать святым словам. Но если у проповедника окажется хриплый голос и не очень благообразное лицо, если он плохо выбрит цирюльником и вдобавок заляпан уличной грязью — какие бы великие истины он не вещал, бьюсь об заклад, что наш сановник быстро потеряет свою внушительную сосредоточенность.

Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью; сколько бы разум ни твердил ему, что он в безопасности, все равно воображение возьмет верх. Иные люди при одной мысли об этом побледнеют и покроются потом.

Не стоит распространяться обо всем, что с нами случается под воздействием воображения.

Все на свете знают, что многие словно теряют рассудок, увидев кошку или крысу, услышав, как скрипит под ногами уголь. Звучание голоса действует на самых разумных людей, и от него зависит, понравится ли им произнесенная речь или прочитанное стихотворение.

Благорасположение и ненависть меняют даже самое понятие о справедливости. Насколько справедливее кажется защитнику дело, за которое ему заранее щедро заплатили! А как потом его уверенные жесты влияют на судей, как он обманывает их видимостью! Хорош разум — игрушка ветра, откуда бы тот ни подул!

Я убежден, что почти все людские поступки совершаются под натиском воображения. Ибо самый ясный разум в конце концов сдается и следует, словно своим собственным, тем правилам, которые оно своевольно и повсеместно вводит.

Французские судьи отлично знают это таинственное свойство воображения. Потому-то им и нужны красные мантии и горпостаевые накидки, в которые они кутаются, словно Пушистые Коты, и дворцы, где вершится правосудие, и изображение лилий — вся эта торжественная бутафория. И не будь у лекарей черных одежний и туфель без задка, а у ученых мужей — квадратных шапочек и широченных мантий, им не удавалось бы одурачить мир, ну, а противостоять столь внушительному зрелищу люди не способны. Если бы судьи и впрямь умели судить по справедливости, а лекари — исцелять недуги, им не понадобились бы квадратные шапочки: глубина их познаний внушала бы почтение сама по себе. Но так как знания судей и лекарей лишь воображаемы, они волей-неволей принуждены прибегать к суетным украшениям, дабы поразить воображение окружающих, — и вполне достигают цели. А вот военным ни к чему подобный маскарад, их дело не выдуманное, они силой берут то, что другие получают, пуская в ход лицедейство.

Обходятся без маскарадных уборов и наши монархи. Они не обряжаются в дикий наряд, зато их окружают телохранители, воины с алебардами. Эти ражие молодцы, чья сила, чьи мышцы безраздельно принадлежат венценосцам, эти трубачи и барабанщики, выступающие впереди, эти вооруженные отряды, окружающие владыку, наполняют трепетом даже самые отважные сердца: тут ведь не одна одежда, но и сила. И надо обладать очень возвышенным разумом, чтобы увидеть обыкновенного человека в турецком султানে, окруженном всей роскошью сераля и сорока тысячами янычар.

Стоит нам увидеть правоведа в мантии и шапочке — и мы уже полны веры в его таланты.

Воображение распоряжается всем — красотой, справедливостью, счастьем, всем, что ценится в этом мире. Я очень бы хотел прочитать итальянскую книгу, известную мне только по названию, стоящему, впрочем, многих книг: «*Della opinione regina del mondo*»<sup>1</sup>. Даже и не читая, я готов подписаться под ней — разумеется, если в ней все справедливо.

Вот приблизительно каковы следствия этой лживой способности, которая нам дана как будто лишь для того, чтобы безошибочно вводить в обман. Впрочем, других источников заблуждений у нас тоже предостаточно.

Нас ослепляет не только привычность понятий, но и прелесть новизны. То и другое рождает бесчисленные споры с попреками равно и за приверженность ложным представлениям, внушенным в детстве, и за дерзкую погоню за новизной. Кто нашел золотую середину? Пусть он

---

<sup>1</sup> «Об общественном мнении, властвующем над миром» (ит.).



подаст голос, пусть докажет свою правоту. Не существует такого понятия, самого, казалось бы, неоспоримого, воспринятого чуть ли не с пеленок, о котором кто-нибудь не сказал бы, что оно ложно и порождено недостатком знаний или заблуждением чувств.

«Вы в детстве решили, — говорят одни, — что если ваши глаза ничего не видят в сундуке, значит, он пуст, и, таким образом, поверили в существование пустоты. Но это — обман чувств, поддержанный закоренелым предрассудком, и наука призвана его рассеять». А другие твердят: «Вас в школе учили, будто пустоты не существует, вот и заставили замолчать здравый смысл, твердо знавший, что она есть, пока его не сбила с толку вредоносная наука; забудьте же ее и поверьте свидетельству чувств». Кто же все-таки нас обманывал? Здравый смысл или школьный учитель?

А вот еще один источник заблуждений — наши болезни. Они искажают и способность здраво судить, и показания чувств. Воздействие тяжелых болезней неоспоримо, но я убежден, что и легкие недомогания пусть в меньшей степени, но все же влияют на нас.

Выгода тоже ослепляет нас, притом легко и приятно. Но будь человек воплощением беспристрастия, все равно он себе не судья. Я знал людей, которые так боялись предвзятости, что впадали в противоположную крайность: например, готовы были отказать в самом справедливом ходатайстве, если за ходатая хлопотали их близкие.

Истина и справедливость — точки столь малые, что, мѣтя в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах, а если и

попадаем в точку, то размазываем ее и при этом прикасаемся ко всему, чем она окружена, — к неправде куда чаще, чем к правде.

84

Воображение так преувеличивает любой пустяк и придает ему такую невероятную цену, что он заполняет нам душу; с другой стороны, по своей бесстыжей дерзости оно преуменьшает до собственных пределов все истинно великое, — например, образ бога.

85

То, что порою больше всего волнует нас, — например, опасение, как бы кто-нибудь не проведал о нашей бедности, — часто оказывается сущей безделицей. Это песчинка, раздутая воображением до размеров горы. А стоит ему настроиться на другой лад — и мы с легкостью рассказываем о том, что прежде таили.

88

Дети, которые намалюют рожу, а потом сами же ее пугаются, всего-навсего дети; но возможно ли, чтобы существо, столь слабое в детстве, повзрослев, стало очень сильным? Нет, оно просто меняет один призрак на другой. Что постепенно совершенствуется, то столь же постепенно клонится к гибели, что было слабым, то никогда не станет поистине сильным. И пусть твердят: «Он вырос, он изменился», — нет, он тот же, что и был.

*Spongia solis* <sup>1</sup>. — Когда одно явление неизменно следует за другим, мы сразу делаем вывод, что таков, значит, закон природы: например, что завтра утром непременно рассветет. Но иной раз природа устраивает нам подвох и не подчиняется собственным правилам.

Что такое наши врожденные понятия, как не понятия привычные? Разве дети не усваивают их от родителей, как животные — умение охотиться?

Противоположные привычки порождают противоположные понятия, чему есть множество примеров; если и существуют понятия, которые не может искоренить никакая привычка, то ведь есть и привычки, противные природе, но не подвластные ни ей, ни более поздней привычке. Это уж зависит от склада характера.

Родители боятся, как бы врожденная любовь детей к ним с течением времени не изгладилась. Но как может изгладиться врожденное чувство? Привычка — наша вторая натура, и она-то меняет натуру первоначальную. Но что такое человеческая натура? И разве привычка не натуральна в человеке? Боюсь, что эта натура — наша самая первая привычка, меж тем как привычка — наша вторая натура.

---

<sup>1</sup> Пятна на солнце (лат.).

В людской природе все от естества, omne animal. Любое чувство может превратиться как бы во врожденное, любое врожденное чувство может изгладиться.

Что может быть важнее в человеческой жизни, чем выбор ремесла, а меж тем его решает случай. Каменщиками, солдатами, кровельщиками люди становятся потому, что так повелось. «Он отличный кровельщик», — говорят одни и добавляют, когда речь заходит о солдатах: «Вот уж глупцы!» Другие, напротив, утверждают: «Только воины занимаются стоящим делом, остальные просто шалопаи». Дети слышат, как хвалят одно ремесло и хулят другие, и вот выбор их сделан: ведь так естественно любить истину и презирать безрассудство! Нас глубоко трогают эти понятия, и ошибаемся мы, лишь когда применяем их в жизни. Сила обычая такова, что рожденные просто людьми сразу превращаются в людей, обреченных какому-нибудь ремеслу: в одной местности все поголовно каменщики, в другой — солдаты и так далее. Разумеется, людская природа не так однообразна, следовательно, дело в обычае, который ее одолевает. Но случается все же и ей брать верх, и тогда человек следует своим склонностям наперекор обычаю, хорош он или плох.

Поступки, продиктованные волей, всегда и во всем отличаются от всех прочих.

Без воли не было бы и верований, но не потому, что она их творит, а потому, что истинность или ложность любого понятия зависит от точки зрения. Воля, отдающая предпочтение одной из них, закрывает нам глаза на остальные, поэтому разум, неразрывно связанный с волей, возникает лишь в то, что ею одобрено, и, значит, судит, основываясь на том, что ему в данную минуту зримо.

## 100

*Себялюбие.*— Суть себялюбия и вообще человеческого «я» в том, что оно любит только себя и печется только о себе. Но как ему быть? Не в его власти исцелить этот возлюбленный предмет от множества недостатков и слабостей. «Я» хочет видеть себя великим, а сознает, что ничтожно, счастливым, а само несчастно, совершенным, а видит, что его недостатки вызывают в людях негодование и презрение. Это противоречие рождает в человеке самую несправедливую и преступную из всех страстей: смертельную ненависть к правде, которая, не сдаваясь, неотступно твердит о его недостатках. Он жаждет уничтожить правду, а увидев, что ему это не под силу, старается ее вытравить и из своего сознания, и из сознания окружающих, то есть прилежно скрывает свои недостатки от себя и от близких и негодует на того, кто указывает ему на них или хотя бы их видит.

Разумеется, очень плохо быть преисполненным недостатков, но еще хуже не признаваться в них, иными словами — сознательно вводить в заблуждение. Мы не хотим, чтобы ближние нас обманывали, считаем несправедливыми их при-

тязания на уважение большее, чем они того заслуживают; значит, обманывая их и притязая на незаслуженное уважение, мы тоже поступаем несправедливо.

Поэтому, когда люди указывают нам на недостатки и пороки, которыми мы действительно страдаем, они, разумеется, не только не причиняют нам зла, ибо ничуть не повинны в этих недостатках, но, напротив, делают добро, помогая исцелиться от недуга, состоящего в неведении своих несовершенств. И мы не смеем гневаться на людей за то, что они видят наши слабости и презирают нас, ибо справедливость требует, чтобы, зная нашу истинную природу, они презирали нас, если мы заслуживаем презрения.

Вот какие чувства должны бы возникнуть в сердце подлинно нелицеприятном и справедливом. А что сказать о нашем собственном сердце, в котором гнездятся чувства прямо противоположные? Ибо кто станет отрицать, что мы ненавидим правду и говорящих ее и, напротив, любим, когда люди заблуждаются насчет нас, но, разумеется, в нашу пользу, и стараемся казаться им не такими, каковы мы на самом деле?

Вот еще доказательство моей правоты, и оно повергает меня в ужас. Католическая религия не требует громогласного и публичного покаяния в грехах, она позволяет утаивать их от всех, кроме одного человека: лишь ему мы обязаны открыть всю подноготную, показать себя в истинном свете. Она запрещает нам вводить в обман его и только его, а ему приказывает так свято блюсти тайну, что мы словно бы ни в чем и не признавались. Невиданное милосердие, невиданная кротость! Но развращенность человека такова, что и это требование он находит

слишком суровым, и оно стало одной из главных причин бунта, поднятого многими европейскими странами против истинной церкви.

Как же неразумны и до мозга костей порочны люди, если возмущаются требованием быть с одним-единственным человеком такими, какими по справедливости они должны быть со всеми! Ибо разве обманывать справедливо?

Большее или меньшее отвращение к правде присуще, видимо, всем без исключения, ибо неотъемлемо от себялюбия. И как это плачевно, что те, чья прямая обязанность увещевать ближних, изворачиваются, идут на всякие уловки и ухищрения, только бы никого не обидеть. Они тщатся умалить недостатки, прикидываются, будто прощают их, выговор чередуют с похвалой, неустанно заверяют в своей приязни и уважении. Но лекарство не становится от этого слаще, и себялюбие пьет его маленькими глотками, всегда с неудовольствием, а нередко и с затаенной злобой на тех, кто его подносит.

Поэтому если человеку хочется расположить нас к себе, он не станет оказывать услугу, нам неприятную, и будет обходиться с нами так, как мы сами того желаем: скроет от нас правду, ибо мы ее ненавидим; начнет льстить, ибо мы жаждем лести; обманет, ибо мы любим обман.

Вот и получается, что с каждым шагом по пути мирского успеха мы на тот же шаг отдаляемся от правды, так как, чем полезнее людям наше расположение и опаснее неприязнь, тем больше они страшатся нас задеть. Монарх может стать посмешищем всей Европы, а он этого и не заподозрит. Что ж тут удивительного: правда идет на пользу тому, кто ее выслушивает, отнюдь не тому, кто говорит, и, значит, навлекает

на себя ненависть. Меж тем царедворцы дорожат своей выгодой больше, нежели выгодой монарха, и не торопятся принести пользу ему в ущерб себе.

Разумеется, от этого злосчастного притворства больше всего страдают сильные мира сего, но, случается, его жертвами становятся и простые смертные: ведь всегда есть резон снискать людское расположение. И выходит, что наша жизнь — нескончаемая иллюзия: мы только и делаем, что лжем и льстим друг другу. В глаза нам говорят совсем не то, что за глаза. Людские отношения зиждутся на взаимном обмане, и как мало уцелело бы дружб, если бы каждый вдруг узнал, что говорят друзья за его спиной, хотя как раз тогда они искренни и беспристрастны.

Итак, человек — это сплошное притворство, ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить ее другим. И эти наклонности, противные разуму и справедливости, глубоко укоренились в его сердце.

## 101

Когда бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние, — я убежден, на свете не осталось бы и четырех искренних друзей. Подтверждение этому — ссоры, вызванные случайно оброненным, неосторожным словом.

## 102

Иные наши пороки — только отростки других, главных: они отпадут, как древесные ветки, едва вы срубите ствол.



Пример чистоты нравов Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства — к распушенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным. Нам мнится, не такие уж мы обычные распутники, если те же пороки были свойственны и великим людям, ибо никому не приходит в голову, что как раз в этом великие люди ничем не отличаются от простых смертных. Им подражают в том, в чем они подобны всем прочим, ибо при всей высоте натуры какая-то черта неизменно уравнивает их с ничтожнейшими из людей. Они не висят в воздухе, не оторваны от всего человечества — нет, они больше нас лишь потому, что на голову выше, но их ноги на том же уровне, что и наши, они попирают ту же землю. Этими конечностями они нисколько не возвышаются над нами, над малыми сими, над детьми, над животными.

Когда нами овладевает страсть, мы забываем о долге; если нам нравится книга, мы утыкаемся в нее, пренебрегая самыми насущными делами. Чтобы напомнить себе о них, следует заняться чем-нибудь очень докучным: тогда, под предлогом, что у нас есть дело поважнее, мы возвращаемся к исполнению долга.

Отдавая чье-либо творение на суд другому человеку, как трудно заранее не настроить его

на тот или иной лад! Говоря: «По-моему, это прекрасно»,— или: «Мне это непонятно»,— и прочее в этом роде, мы побуждаем воображение собеседника следовать за нами или, напротив, нам сопротивляться. Поэтому всего лучше молчать,— тогда он будет судить, исходя из самого себя, то есть из себя, каков он в эту минуту, и из тех внешних обстоятельств, к которым мы не причастны. Так или иначе, своего мнения мы ему не навяжем, если, конечно, пренебречь тем, что и молчание воздействует по-разному, в зависимости от оттенков смысла, которые этот человек пожелает из него извлечь, и от выводов, которые сделает из наших жестов, мимики, тона, и от его умения читать по лицам: вот до какой степени трудно не повлиять на суждение, или, вернее, до какой степени редко оно бывает твердым и независимым.

## 106

Узнав главенствующую страсть человека, мы уже уверены, что сможем ему понравиться, забывая, что у каждого без счета прихотей, идущих вразрез даже с его собственной выгодой, как он ее понимает: вот это сумасбродство человека и смешивает все карты в игре.

## 107

*Lustravit lampade terras*<sup>1</sup>.— Погода мало влияет на расположение моего духа,— у меня свои собственные туманы и погожие дни. Порою они не зависят даже от хорошего или дурного оборота моих дел. Случается, я не дрогнув встречаю

---

<sup>1</sup> Озарил светочем земли (лат.).

удары судьбы: победить ее так почетно, что я, вступая с ней в борьбу, сохраняю бодрость духа, меж тем как иной раз, при самых благоприятных обстоятельствах, хожу как в воду опущенный.

## 108

Пусть человеку нет никакой выгоды лгать — это еще не значит, что он говорит правду: лгут просто во имя лжи.

## 109

Когда человек здоров, ему непонятно, как это живут больные люди, а когда расхварывается, он глотает лекарства и даже не морщится: к этому его понуждает недуг. Нет у него больше страстей, нет желания пойти погулять, развлечься, рождаемого здоровьем, но несовместного с недугом. Теперь у него другие страсти и желания, они соответствуют его состоянию и рождены все той же природой. Именно тем и мучительны страхи, рожденные не природой, а нами самими, что заставляют терзаться страстями, не свойственными нашему теперешнему состоянию.

## 109 бис

По самой своей натуре мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо когда желания рисуют нам идеал счастья, они сочетают наши нынешние обстоятельства с удовольствиями, нам сейчас недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия, а счастья не прибавилось, потому что изменились обстоятельства, а с ними — и наши желания.

Человек чувствует, как тщетны доступные ему удовольствия, но не понимает, как суетны чаемые; в этом причина людского непостоянства.

*Непостоянство.*— Многие считают, что человек отзывается на прикосновение, как обыкновенный орган. Он и впрямь орган, но причудливый, прихотливый. Кто умеет играть только на обыкновенных органах, не извлечет согласных звуков из этого инструмента: надо знать расположение всех его регистров.

*Непостоянство.*— У предметов множество свойств, у души множество склонностей; все, что ей открывается, непросто, и сама она, открываясь, всегда является непростой. Поэтому одно и то же вызывает у человека то смех, то слезы.

*Многообразие.*— Богословие — это наука, но сколько в нем сочетается наук! Человек состоит из многих частей, но если его расчленишь, окажется ли человеком каждая часть? Голова, сердце, вены, каждая вена, каждый ее отрезок, кровь, каждая ее капля?

Город или деревня издали кажутся городом или деревней, но стоит подойти поближе — и мы видим дома, деревья, черепицу, листья, траву,

муравьев, муравьиные ножки, и так до бесконечности. И все это входит в слово «деревня».

116

*Мысли.*— Все едино, все многообразно. Сколько натур в одной человеческой натуре! Сколько призваний! А человек выбирает себе занятие наобум, просто потому, что кто-то это занятие похвалил. Хорошо сработанный башмачный каблук.

117

*Башмачный каблук.*— «Как ловко сработан этот каблук!» — «Какой искусный мастер!» — «Какой храбрый солдат!» Вот источник наших склонностей, вот под влиянием чего мы выбираем себе занятие. «Он пьет и не пьянеет!» — «Он совсем не пьет!» Вот как люди становятся пьяницами, трезвенниками, солдатами, трусами и т. д.

119

Природа повторяет себя: зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит; мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит; числа повторяют пространство, хотя так от него отличны.

Все создано и определено единым творцом: корни, ветви, плоды; причины, следствия.

121

Природа беспрестанно возобновляет одно и то же — годы, дни, часы; пространства, равно как

и числа, непрерывно следуют одно за другим. И таким образом получается своего рода бесконечность и вечность. Не то чтобы все это в отдельности было бесконечно и вечно, но величины, сами по себе конечные, бесконечно умножаются. Так что, на мой взгляд, бесконечно только умножающее их число.

122

Время потому исцеляет скорби и обиды, что человек меняется: он уже не тот, кем был. И обидчик и обиженный стали другими людьми. Точь-в-точь как разгневанный народ: взгляните на него через два поколения — это по-прежнему французы, но они уже совсем другие.

123

Он уже не любит эту женщину, любимую десять лет назад. Еще бы! И она не та, что прежде, и он не тот. Он был молод, она тоже; теперь она совсем другая. Ту, прежнюю, он, быть может, все еще любил бы.

124

Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой стороны, но и другими глазами — поэтому и считаем, что они переменились.

125

*Противоречия.*— Человек по своей натуре доверчив, недоверчив, робок, отважен.

Описание человека: зависимость, жажда независимости, множество надобностей.

Состояние человека: непостоянство, тоска, тревога.

Человек тоскует, если ему приходится бросать то, к чему он пристрастился. Некто вполне доволен своим домашним очагом; но вот он встретил женщину и увлекся ею или несколько дней с удовольствием играл в карты. Заставьте его вернуться к прежнему кругу занятий, и он почувствует себя несчастным. История из самых обыденных.

Суть человеческого естества — в движении. Полный покой означает смерть.

*Беспокойство.*— Солдат пеняет на тяготы своего занятия, пахарь — на тяготы своего и т. д. Но попробуйте обречь их на безделье!

*Тоска.*— Всего невыносимей для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами,

ни развлечениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу выползают беспросветная тоска, печаль, горечь, озлобление, отчаяние.

132

На мой взгляд, Цезарь был слишком стар для такой забавы, как завоевание мира. Она к лицу Августу или Александру: эти были молоды, а молодых людей трудно обуздать; но Цезарь, казалось бы, должен был проявить бóльшую зрелость ума.

133

Два похожих лица, ничуть не смешных по отдельности, смешат своим сходством, когда они рядом.

134

Как суетна та живопись, которая восхищает нас точным изображением предметов, отнюдь не восхищающих в натуре!

135

В сражении нас привлекает самое сражение, а не его победоносный конец: мы любим смотреть на бои животных, но не на победителя, терзающего жертву. Чего, казалось бы, нам ждать, как не победы? Однако стоит ее дожидаться — и мы сыты по горло. Так же обстоит дело и с любой игрой, и с поисками истины. Мы любим



следить за столкновением несхожих мнений, но вот обдумать найденную истину — нет уж, увольте! Она доставляет нам удовольствие лишь тогда, когда при нас рождается в спорах. И со страстями то же самое: мы жадно следим за их противоборством, но вот одна взяла верх — и какое это грубое зрелище! Нас волнует не суть явлений, а лишь поиски сути. Поэтому так претят те сцены в комедиях, где довольство не сдобрено тревогой, несчастье — надеждой, где только и есть, что грубое вожделение или безжалостная жестокость.

### 136

Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние.

### 137

Мы поймем смысл всех людских занятий, если вникнем в суть развлечения.

### 139

*Развлечение.* — Я неоднократно размышлял о том, сколько беспокойств, опасностей и невзгод навлекают на себя люди, живя при дворе или сражаясь на войне, о вечных распрях, неистовствах, дерзких, а порою и преступных замыслах и т. д., — и пришел к выводу, что главная беда человека — в его неспособности к домоседству. Если бы тот, у кого довольно средств для безбедного существования, умел, не томясь, жить в своем углу, разве пускался бы он в плаванья или принимал бы участие в осаде крепостей? Он лишь потому транжирит деньги, покупая

воинские должности, что ему не сидится на месте, и лишь потому ищет, с кем бы поболтать и перекинуться в карты, что скучает дома.

Но потом я глубже вник в эту бедственную людскую особенность, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в ее основе, и такая причина, действительно, нашлась, и очень серьезная: она коренится в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом — и уже ничто не может нас утешить.

Из всех положений, обильных благами, доступными смертным, положение монарха, очевидно, наизавиднейшее. Он убогаторен во всех своих желаниях, но попробуйте лишить его развлечений, предоставить думам и размышлениям о том, что он такое, — и это бездеятельное счастье рухнет, он невольно погрузится в мысли об угрозах судьбы, о возможных мятежах, наконец, о смерти и неизбежных недугах. И окажется, что, лишенный развлечений, монарх несчастен, несчастнее, чем самый жалкий его подданный, который предается играм и другим развлечениям.

Вот почему люди так ценят игры и болтовню с женщинами, так стремятся попасть на войну или занять высокую должность. Не в том дело, что они рассчитывают найти в этом счастье, что верят, будто в карточном выигрыше или затравленном зайце и впрямь скрыто истинное блаженство: им не нужен ни этот выигрыш, ни этот заяц. Мы ищем не того мирного и ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но

треволнений, развлекающих нас и уводящих прочь от мучительных раздумий.

Вот почему люди так любят шум и движение, вот почему им так непереносимо тюремное заключение и так непонятны радости одиночества. Величайшее преимущество монарха в том и состоит, что его наперебой стараются развлечь и доставить ему все существующие на свете удовольствия.

Монарх окружен людьми, чья единственная забота — веселить его и отвлекать от мыслей о себе. Ибо, хотя он и монарх, эти мысли повергают его в скорбь.

Вот и все, что в поисках счастья смогли придумать люди. Как же мало понимает человеческую натуру тот, кто с глубокомысленным видом возмущается столь неразумным времяпровождением, как целодневная охота на зайца, которого те же самые охотники погнушались бы купить! Все дело в том, что заяц не спасает от видения грядущих горестей и смерти, меж тем как охота на него спасает, не оставляя досуга ни для каких мыслей.

Когда Пирру, попытавшемуся обрести покой в воинских трудах, посоветовали искать его в бездействии, исполнить этот совет оказалось не так-то просто.

Поэтому, возражая на упрек — зачем, мол, они сломя голову гонятся за каким-то зайцем, хотя он им совершенно не нужен, — охотники должны были бы сказать, что просто ищут трудного и захватывающего дела, которое отвлекло бы их от мыслей о себе, придумывают приятное, увлекательное занятие, чтобы уйти в него с головой. Столь разумным возражением они поставили бы своих противников в тупик. Но оно не

приходит охотникам в голову, потому что они не разбираются в себе. Им невдомек, что главная их цель — сама охота, а не добыча.

Люди воображают, что обретут покой, если добьются такой-то должности, забывая, как ненасытна их алчность, и чистосердечно верят, что только к этому покою и стремятся, хотя в действительности ищут одних лишь треволнений.

Безотчетное чувство толкает их в погоню за мирскими развлечениями и занятиями, и происходит это потому, что они непрерывно ощущают горечь своего бытия. А другое безотчетное чувство — наследие, доставшееся нам от нашей первоначальной, непорочной натуры, — подсказывает, что счастье не в житейском водовороте, а в покое. Столкновение столь противоречивых чувств рождает в людях смутное, неосознанное желание искать бури во имя покоя, равно как и надежду, что, победив еще какие-то трудности, они обретут наконец вечно ускользающее счастье и проложат путь к душевному умиротворению.

Так проходит вся человеческая жизнь. Мы преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим покоем, ибо, ничем не занятые, попадаем во власть мыслей о бедах уже нагрянувших или грядущих. Но будь мы защищены от любых бед, томительная тоска, искони коренящаяся в человеческом сердце, пробилась бы наружу и наплатала бы ядом наш ум.

Человек до того несчастен, что томится тоской даже без всякой причины, просто в силу особого своего положения в мире, и до того суетен, что, сколько бы у него ни было самых ос-

новательных причин для тоски, способен развлечься такой малостью, как игра в бильярд или мяч.

«Но какой для него смысл в этой игре?» — спросите вы. А такой, что завтра он сможет похвалиться перед друзьями, — мол, обыграл такого-то. И вот одни лезут вон из кожи в своих кабинетах, тщась блеснуть перед учеными решением никем до сих пор не решенной алгебраической задачи, другие — на мой взгляд, не менее глупые — подвергают себя смертельной опасности, чтобы похвалиться одержанной победой, и, наконец, третьи тратят все силы, стараясь запомнить эти события, но не затем, чтобы извлечь из них урок мудрости, а только чтобы показать свою осведомленность, и уж эти — самые глупые из всей честной компании, потому что они глупы со знанием дела, тогда как другие, быть может, глупы по неведению.

Иной человек живет, не ведая тоски, потому что ежедневно играет по маленькой. Но попробуйте выплачивать ему каждое утро столько денег, сколько он мог бы выиграть за день, запретив при этом играть, — и он почувствует себя несчастным. Мне, вероятно, возразят, что играет он не для выигрыша, а для развлечения. В таком случае позвольте ему играть, но не на деньги — и опять он быстро затоскует, ибо в этой игре не будет азарта. Значит, развлечение развлечению рознь: тягучее, не оживленное страстью, оно никому не нужно. Человек должен увлечься, должен обмануть себя, убедив, будто обретет счастье, выиграв деньги, хотя не взял бы их, если бы взамен пришлось отказаться от игры, должен выдумывать себе цель и потом страстно стремиться к ней, попеременно испы-

тая из-за этой выдуманной цели алчность, злобу, страх, уподобляясь ребенку, который пугается рожи, им самим намалеванной.

Как могло случиться, что этот господин, недавно утративший единственного сына и еще утром подавленный тяжбой и всяческими дрязгами, сейчас забыл обо всем на свете? Не удивляйтесь: он поглощен вопросом, куда ринется вепрь, которого уже шесть часов травят собаки. Этого вполне достаточно. Как бы ни был опечален человек, но придумайте для него развлечение — и он на время обретет счастье, и как бы ни был счастлив человек, отнимите у него все забавы и развлечения, не дающие возможности задумываться, и он сразу помрачнеет и почувствует себя несчастным. Нет развлечений — нет радости, есть развлечения — нет печали. Счастье сильных мира сего в том и состоит, что у них никогда не бывает недостатка в развлечениях и развлекателях.

А вот еще пример. Не потому ли сто́ит быть суперинтендантом, канцлером, председателем суда, что к ним с утра до ночи стекаются посетители, не оставляя ни единого часа на дню, когда они могли бы подумать о себе? И какими несчастными и покинутыми чувствуют себя эти люди, когда, попав в опалу, принуждены жить в собственных поместьях, хотя у них там вдоволь добра и заботливых слуг: теперь-то им уже никто не мешает отдаваться мыслям о собственной судьбе.

*Развлечение.* — Человек с самого детства только и слышит, что он должен печься о собствен-

ном благополучии, о добром имени, о своих друзьях, и вдобавок о благополучии и добром имени этих друзей. Его обременяют занятиями, изучением языков, телесными упражнениями, неустанно внушая, что не быть ему счастливым, если он и его друзья не сумеют сохранить в должном порядке здоровье, доброе имя, имущество, и что малейшая нужда в чем-нибудь сделает его несчастным. И на него обрушивают столько дел и обязанностей, что от зари до зари он в суете и заботах. «Что за диковинный способ вести человека к счастью,— скажете вы.— Вернейший, чтобы сделать его несчастным!» — Как, вернейший? Есть куда вернее: отнимите у него эти заботы, и он начнет думать, что он такое, откуда пришел, куда идет,— вот почему его необходимо с головой окунуть в дела, отвратив от мыслей. И потому же, придумав для него множество важных занятий, ему советуют каждый свободный час посвящать играм, забавам, не давать себе ни минуты передышки.

Как пусто человеческое сердце и сколько нечистот в этой пустоте!

## 144

Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук, но потерял к ним вкус — так мало они дают знаний. Потом я стал изучать человека и понял, что отвлеченные науки вообще чужды его натуре и что, занимаясь ими, я еще хуже понимаю, каково мое место в мире, чем те, кому они неведомы. И я простил этим людям их незнание. Но я полагал, что не я один, а многие заняты изучением человека и что иначе и быть не может. Я ошибался: даже математикой — и

той занимаются охотнее. Впрочем, к последней, да и к другим наукам обращаются только потому, что не знают, как приступить к первой. Но вот о чем стоит задуматься: а нужна ли человеку и эта наука и не будет ли он счастливее, если ничего не узнает о себе?

## 146

Человек, несомненно, сотворен для того, чтобы думать: в этом и главное его достоинство, и главное дело жизни, а главный долг в том, чтобы думать пристойно. И начать ему следует с размышлений о себе самом, о своем создателе и о своем конце.

Но о чем думают люди? Вовсе не об этом, а о том, чтобы поплясать, побряцать на лютне, спеть песню, сочинить стихи, поиграть в кольцо и т. д., повоевать, добиться королевского престола, и ни на минуту не задумываться над тем, что это такое: быть королем, быть человеком.

## 147

Мы не довольствуемся нашей подлинной жизнью и нашим подлинным существом, — нам надо создать в представлении других людей некий воображаемый образ, и ради этого мы стараемся казаться. Не жалея сил, мы постоянно приукрашиваем и холим это воображаемое «я» в ущерб «я» настоящему. Если нам свойственно великодушие, или спокойствие, или умение хранить верность, мы торопимся оповестить об этих свойствах весь мир и, дабы украсить ими нас выдуманных, готовы отнять их от нас подлинных; мы даже не прочь стать трусами, лишь бы



прослыть храбрецами. Неоспоримый признак ничтожества нашего «я» в том и состоит, что оно не довольствуется ни самим собою, ни своим выдуманным двойником и часто меняет их местами! Ибо кто не согласился бы умереть ради сохранения чести, тот прослыл бы негодяем.

148

Мы так тщеславны, что хотели бы прославиться среди всех людей, населяющих землю,— даже среди тех, что появятся, когда мы уже исчезнем; мы так суетны, что тешимся и довольствуемся доброй славой среди пяти-шести близких нам людей.

149

Никто не старается завоевать добрую славу в городе, где он лишь прохожий, но очень заботится о ней, если ему приходится осесть там хоть на малый срок. А на какой все-таки? На срок, соразмерный нашему мимолетному и брентному пребыванию в этом мире.

150

Суетность так укоренилась в нашем сердце, что, будь то солдат или подмастерье, повар или грузчик, все равно он станет расхваливать себя и искать почитателей. Хотят почитателей все — даже философы; пишущие в осуждение суетности хотят похвалы за то, что так хорошо осудили ее, а читающие — за то, что прочли их сочинения; и я, пишущий эти строки, тоже, быть мо-

жет, хочу похвалы, и, быть может, ее захотят и мои читатели...

152

*Гордыня.*— Любознательность — это та же суетность. Чаще всего люди стремятся приобрести знания, чтобы потом ими похвалиться. Никто не стал бы плавать по морям ради одного удовольствия повидать их; нет, плавают, чтобы потом рассказать о виденном, поразглагольствовать о нем.

153

*О желании снискать уважение близких.*— Не взирая на горести, заблуждения и т. д., мы одержимы гордыней, вошедшей в нашу плоть и кровь, и с радостью отдадим все, вплоть до жизни, лишь бы привлечь к себе внимание.

Суета сует: игра, охота, хождение по гостям и театрам, ложная забота об увековечении имени.

155

Даже именитейшему вельможе весьма полезно обзавестись истинным другом, ибо друг будет расточать ему похвалы и стоять за него горой не только при нем, но и в его отсутствие. Лишь бы не ошибиться в выборе, потому что если он добьется дружбы дурака, проку от этого не будет никакого, сколько бы тот его ни превозносил. Впрочем, дурак и превозносить не станет, если не встретит поддержки: все равно с его суждениями никто не считается, так что лучше уж он позлословит за компанию.

*Ferox gens, nullam esse vitam, sine armis rati* <sup>1</sup>.  
Одни предпочитают смерть мирной жизни, другие — войне.

Люди готовы пожертвовать жизнью ради любого убеждения, хотя, казалось бы, любовь к ней так сильна и так естественна.

Противоречие: пренебрежение собственной жизнью, готовность умереть во имя любой безделицы, ненависть к собственной жизни.

*Ремесла.* — Слава так притягательна, что люди готовы платить за нее чем угодно, даже жизнью.

Похвальнее всего те добрые дела, которые остаются в тайне. Читая о них в истории (например, стр. 184), я всегда очень радуюсь. Но, как видно, они остались не совсем в тайне — кто-то о них проведал; и пусть человек искренне старался их скрыть, щелочка, через которую они просочились, все портит. Лучшее в добрых делах — это желание их утаить.

Чихает ли человек, справляет ли надобность — на это уходят все силы его души, но действия

---

<sup>1</sup> Это свирепое племя, для него нет жизни без войны (*лат.*).

эти произвольны, стало быть, нисколько не умаляют величия человека. И хотя он делает это сам, но делает невольно, не ради помянутых действий, а совсем по другой причине, так что на этом основании нельзя обвинять его в слабости и рабском подчинении чему-то недостойному.

Человеку не зазорно склониться под властью горя, но зазорно склониться под властью наслаждения. И не в том дело, что горе к нам приходит, а наслаждения мы ищем сами, нет, горе тоже можно искать, и предаваться ему, и при этом нисколько себя не унижать. Но почему же все-таки разум сохраняет достоинство, предаваясь горю, но позорит себя, предаваясь наслаждению? Да потому, что горе не пытается нас соблазнить, не вводит в искушение, мы сами склоняемся перед ним, сами признаем его власть и, значит, продолжаем оставаться хозяевами положения, и если подчиняемся, то лишь самим себе. А вот наслаждаясь, мы становимся рабами наслаждения. Умение владеть, распоряжаться собой всегда возвеличивает человека, рабство всегда его унижает.

## 161

*Суета сует.*— Люди живут в таком полном непонимании суетности всей человеческой жизни, что приходят в полное недоумение, когда им говорят о бессмысленности погони за почестями. Ну, не поразительно ли это!

## 162

Чтобы до конца осознать всю суетность человека, надо уяснить себе причины и следствия

любви. Причина ее — «неведомо что» (Корнель), а следствия ужасны. И это «неведомо что», эта малость, которую и определить-то невозможно, сотрясает землю, движет монархами, армиями, всем миром.

Нос Клеопатры: будь он чуть покороче — облик земли стал бы иным.

165

*Мысли. In omnibus requiem quaesivi*<sup>1</sup>.— Будь мы поистине довольны нашим земным существованием, нам не приходилось бы все время отвлекаться от него мыслями, дабы почувствовать хоть какое-то довольство.

166

*Развлечение.*— Легче умереть, не думая о смерти, чем думать о ней, даже когда она не грозит.

168

*Развлечение.*— Люди не властны уничтожить смерть, горести, полное свое неведение, вот они и стараются не думать об этом и хотя бы таким путем обрести счастье.

171

*Горе.*— Развлечение — единственная наша утеха в горе и вместе с тем величайшее горе:

---

<sup>1</sup> Везде я искал покой (лат.).

мешая думать о нашей судьбе, оно незаметно ведет нас к гибели. Не будь у нас развлечений, мы ощутили бы такую томительную тоску, что постарались бы исцелить ее средством не столь эфемерным. Но развлечение тешит нас, и мы, не замечая того, спешим к смерти.

## 172

Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует. А дело в том, что настоящее почти всегда тягостно. Когда оно печалит нас, мы стараемся закрыть на него глаза, а когда радуется — горюем, что оно ускользает. Мы тщимся продлить его с помощью будущего, пытаемся распорядиться тем, что не в нашей власти, хотя, быть может, и не дотянем до этого будущего.

Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем себя сегодняшним днем: настоящее и прошлое лишь средства, единственная цель — будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем.

Они твердят, будто затмения предвещают беду, но беды так обыденны, так часто постигают нас, что предсказатели неизменно угадывают; меж тем, если бы твердили, что затмения предвещают счастливую жизнь, они так же неизменно ошибались бы. Но счастливую жизнь они предсказывают лишь при редчайшем расположении светил, так что и тут почти никогда не ошибаются.

*Горестность.*— Горестность человеческой судьбы лучше всего постигли и выразили словами Соломон и Иов — счастливейший и несчастнейший из смертных. Один испытал легковесность наслаждений, другой — тяжесть несчастья.

Люди так плохо понимают себя, что ждут смерти, когда совершенно здоровы, или, напротив, считают себя здоровыми, когда их смерть уже на пороге, не чувствуют ни приближения горячки, ни назревания нарыва.

Кромвель грозил стереть с лица земли всех истинных христиан; он уничтожил бы королевское семейство и привел бы к власти свое собственное, если бы в его мочеточнике не оказалась крупца песка. Несдобровать бы даже Риму, но вот появилась эта песчинка. Кромвель умер, его семейство вернулось в ничтожество, водворился мир, король снова на троне.

Разве поверил бы тот, кто был в дружбе с английским королем, с польским королем и шведской королевой, что когда-нибудь он может остаться без пристанища?

У великих и малых мира сего одинаковые беды, огорчения и страсти, только одних судьба поместила на ободу вертящегося колеса, а других — поближе к ступице, так что им легче устоять на ногах.

Мы так жалки, что сперва радуемся удаче, потом терзаемся, когда она изменяет нам, а это может случиться — и случается — чуть ли не каждый день. Кто научился бы радоваться удаче и не горевать из-за неудачи, тот сделал бы удивительное открытие — все равно что изобрел бы вечный двигатель.

Когда человек, занятый каким-нибудь докучным делом, твердо рассчитывает на его счастливый исход, радуется малейшему проблеску надежды и в то же время нисколько не огорчается неудачам, тогда позволительно думать, что он не прочь бы проиграть это дело: он преувеличивает любой благоприятный признак, чтобы выказать крайнюю свою заинтересованность и деланной радостью скрыть подлинную, вызванную тайной уверенностью, что дело-то проиграно.



Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза чем попало, чтобы не видеть, куда бежим.

Всевышний обращает к вере умы — доводами, а сердца — благодатью, ибо оружие его — кротость. Но обращать умы и сердца силой и угрозами — значит наполнять их не верой, а ужасом. *Terrorem potius quam religionem* <sup>1</sup>.

Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к существенному — какая страшная извращенность!

Вообразите, что перед вами множество людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадежности, и ждут своей очереди. Вот картина человеческого существования.

*Fascinatio nugacitatis* <sup>2</sup>.— Чтобы страсти не губили нас, будем вести себя так, словно нам отпущена неделя жизни.

---

<sup>1</sup> Сильнее воздействует страх, нежели вера (лат.).

<sup>2</sup> Ослепление пустяками (лат.).

Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне,— я трепещу от страха и спрашиваю себя,— почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место? *Memoria hospitis unius diei praetereuntis* <sup>1</sup>.

Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств.

Сколько держав даже не подозревают о моем существовании!

Почему знания мои ограничены? Мой рост невелик? Срок на земле сто лет, а не тысяча? Почему природа остановилась на этом числе, а не на другом, хотя их бессчетное множество и нет оснований выбрать это, а не то и тому предпочесть это?

---

<sup>1</sup> Память об однодневном госте (лат.).

Разве ты перестанешь быть рабом оттого, что твой господин любит и превозносит тебя? Ты приносишь немалый доход, раб. Сегодня господин тебя превозносит, завтра прибьет.

Пусть сама комедия и хороша, но последний акт кровав: две-три горсти земли на голову — и конец. Навсегда.

До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда строить себе роскошные палаты и т. д.? Нет, он сразу углубится в поиски истины. А не сделает этого, — что ж, значит, людское мнение для него дороже истины.

*Течение времени.* — Как страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем ты обладал!

Будем бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не грозит: пусть человек до конца останется человеком.

Неоспоримо, что вся людская нравственность зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет. Меж тем философы, рассуждая о нравственности, отметають этот вопрос: они спорят лишь о том, как лучше провести отпущенный им час.

Атеисты должны утверждать только то, что совершенно очевидно, но разве очевидна материальность души?

Атеизм свидетельствует о силе ума, но силе весьма ограниченной.

Вот что я вижу и что приводит меня в смятение. Куда бы я ни поглядел, меня везде окружает мрак. Все, являемое мне природой, рождает лишь сомнение и тревогу. Если бы я не видел в ней ничего отмеченного печатью божества, я утвердился бы в неверии; если бы на всем видел печать творца, успокоился бы, полный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы преисполниться уверенности, и сердце мое скорбит. Сколько раз я повторял: если природа сотворена богом, пусть она неопровержимо подтвердит его бытие, а если подтверждения ее обманчивы, пусть их совсем не будет; пусть она убедит меня во всем или во

всем разубедит, чтобы мне знать, чего держаться. Но я по-прежнему не понимаю, что я такое и что должен делать, не ведаю ни своего положения, ни долга. Сердце жаждет понять, где он — путь к истинному благу, и, во имя вечности, я готов на любые жертвы.

Я полон зависти к тому, кто верит и тем не менее живет в суете и нерадиво распоряжается сокровищем, которым я — так, по крайней мере, мне кажется — распорядился бы совсем иначе.

## 233

*Бесконечность. Ничто.*— Наша душа, брошенная в оболочку тела, находит там число, время, три измерения. Рассуждая об основе всего этого, она именует ее природой, необходимостью и ни во что другое не способна поверить.

Бесконечность не увеличивается, если к ней прибавить единицу. Как не увеличится бесконечное мерило, если к нему прибавить одну пядь. Конечное при сопоставлении с бесконечным уничтожается, становится абсолютным небытием. Равно как и наш дух при сопоставлении его с богом и наша человеческая справедливость при сопоставлении ее с божественной справедливостью. Между нашей и божественной справедливостью не меньшая разница, чем между единицей и бесконечностью. Божественная справедливость должна быть столь же безграничной, как и божественное милосердие. Меж тем справедливость к грешникам не столь безгранична и потрясающа, как милосердие к избранныкам.

Мы знаем, что бесконечность существует, но не ведаем, какова ее природа. Равно как понимаем, что числам нет конца и, следовательно,

существует число, выражающее бесконечность. Но каково оно, мы не знаем: оно так же не может быть четом, как и нечетом, ибо не изменится, если к нему прибавить единицу; вместе с тем любое число должно быть либо четом, либо нечетом (правда, это относится только к конечным числам). Значит, мы можем знать, что бог существует, не ведая, что он такое.

Мы знаем множество истин, не охватывающих всю истину, почему же не может существовать всеобъемлющая истина?

Итак, мы постигаем существование и природу конечного, ибо сами конечны и протяженны, как оно. Мы постигаем существование бесконечного, но не ведаем его природы, ибо оно протяженно, как мы, но не имеет границ. Но мы не постигаем ни существования, ни природы бога, ибо он не имеет ни протяженности, ни границ. Только вера открывает нам его существование, только благодать — его природу. Но я уже показал, что, даже не постигая природы некоего явления, можно знать, что оно существует.

Теперь обсудим этот вопрос с точки зрения естественных наук.

Если бог существует, он бесконечно непостижим, ибо, будучи неделим и бесконечен, во всем отличен от нас. Следовательно, мы не можем постичь, какова его природа и существует ли он. Но раз так, кто дерзнет утверждать или отрицать его бытие? Не мы, ибо ни в чем не соотносимы с ним.

Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны обосновать свои верования, — они, верующие в то, что не поддается обоснованию? Излагая их, они во всеуслышанье заявляют, что это — невнятица, *stultitiam*; и после это-

го вы жалуетесь, что христиане ничего не доказывают! Начни христиане доказывать бытие божие, они были бы нечестны; говоря, что у них нет доказательств, они тем самым говорят, что у них есть здравый смысл. «Ну, хорошо, если это служит оправданием тому, кто в таких словах излагает свою веру, и снимает с него обвинение в бездоказательности, то ни в коем случае не оправдывает того, кого убедила эта бездоказательность». Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так: «Бог есть или его нет». Но как решить этот вопрос? Разум нам тут не помощник: между нами и богом — бесконечность хаоса. Где-то на краю этой бесконечности идет игра — что выпадет, орел или решка. На что вы поставите? Если слушаться разума — ни на то, ни на другое; если слушаться разума, ответа быть не может. Не осуждайте же того, кто сделал выбор, ибо вы ничего не знаете. «Не знаю и поэтому осуждаю не за то, что он сделал такой-то выбор, а за то, что вообще сделал выбор; заблуждается и тот, кто поставил на бога, и тот, кто поставил против него; единственно правильное — не рассуждать об этом». — «Да, но не играть нельзя; хотите вы того или не хотите, вас уже втянули в эту историю. На что же вы поставите? Поскольку приходится выбирать, подумайте, что для вас наименее существенно. Вам грозят два проигрыша — проигрыш истины и проигрыш добра, и на кон поставлены две ценности — ваш разум и ваша воля, ваши познания и вечное блаженство, и ваше естество отвращается от двух врагов — заблуждения и несчастья. Какой бы вы ни сделали выбор, ваш разум не будет унижен — ведь не играть вы не можете. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным

блаженством? Давайте взвесим ваш возможный выигрыш или проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на бога. Выиграв, вы обретете все, проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на бога». — «Превосходно, поставить, пожалуй, надо; но не слишком ли много я поставлю?» — «Давайте подумаем. Мы уже знаем, каков шанс выигрыша и проигрыша в этой игре; вам есть смысл ставить на бога, даже если взамен одной жизни вы выиграете только две, тем паче (ведь отказаться от игры вы не можете) три; вы проявите великое неблагоразумие, если в игре с таким шансом выигрыша и проигрыша — а не играть вы не можете — откажетесь рискнуть одной жизнью во имя возможных трех. А ведь на кону и вечная жизнь, и вечное блаженство. Будь у вас всего один шанс из бесконечного множества, вы были бы правы, ставя одну жизнь против двух, и действовали бы не умно, если бы в этой неизбежной игре отказались поставить одну жизнь против трех, — а уж что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно счастливую бесконечную жизнь! Но в нашем случае у вас шанс выиграть бесконечно счастливую бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно конечно. Этим все и решается: там, где в игру замешана бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, надо все поставить на кон. Таким образом, если не играть нельзя, лучше отказаться от разума во имя жизни, лучше рискнуть им во имя бесконечно большего выигрыша, столь же возможного, сколь возможно и небытие.

Ибо бессмысленно говорить, что выигрыш со-



мнителен, а риск несомненен, что бесконечное расстояние между несомненностью ставки и сомнительностью выигрыша уравнивает конечное благо, которым человек, несомненно, рискует, с бесконечным, но сомнительным выигрышем. Не в этом дело: в любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен, и все-таки игрок с несомненностью рискует конечной ставкой ради конечного же выигрыша и при этом не погрешает против разума. Неверно, что между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша расстояние, равное бесконечности. Бесконечность, действительно, пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. А вот сомнительность выигрыша прямо пропорциональна несомненности риска согласно соотношению, существующему между возможностью выиграть и возможностью проиграть. Отсюда следует, что если шансов выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет на равных, и, значит, несомненность того, что поставлено, равна сомнительности выигрыша; таким образом, расстояние между ними отнюдь не равно бесконечности. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно, и, если люди способны познать хоть какую-то истину, такая истина перед вами». — «Согласен, признаю, что вы правы. Но нет ли какой-нибудь возможности понять, что кроется за этой игрой?» — «Есть: читайте Евангелие и прочее и т. д.». — «Все это так, но у меня связаны руки и заткнут рот: меня принуждают играть и лишают свободы выбора, не дают воль-

но вздохнуть, а я так устроен, что не могу уверовать. Что прикажете мне делать?» — «Понимаю вас. Но хотя бы признайтесь себе в этой вашей неспособности — ведь разум толкает вас к вере, а вы бессильны внять его советам. Старайтесь переделать себя, но не умножением доказательств бытия божия, а обузданием собственных страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути к ней, хотите излечиться от безверия и просите лекарств; учитесь у тех, что были так же несвободны, как вы, а потом поставили на кон все, чем они располагали. Эти люди знают путь, который вы ищете, они исцелились от недуга, от которого хотите исцелиться и вы. Начните с того, с чего начали они: поступайте во всем так, будто уже уверовали, окропляйте себя святой водой, заказывайте обедни и т. д. Уже и это приведет вас к тому, что вы невольно уверуете и поглупеете». — «Но этого я и боюсь». — «А чего тут бояться? Что вы теряете?

А как доказательство правильности такого поведения скажу, что оно поможет вам обуздать страсти — огромные камни преткновения на вашем пути к вере».

*Конец рассуждения.* — Что худого случится с вами, если вы решитесь на это? Вы станете честным, верным, смиренным, благодарным, добродетельным человеком, настоящим искренним другом. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения, слава, сладострастие, но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете и в этой жизни, и с каждым шагом по такому пути все несомненное будет для вас выигрыш и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненность и бесконечность, ничем при этом не пожертвовав.

«Ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает и т. д.».

«Если оно вам нравится и убеждает вас, знайте, так рассуждает человек, не перестающий на коленях молить то неделимое и бесконечное Существо, которому он безраздельно покорен, чтобы и вы были покорены во имя вашего блага и вящей славы этого Существа; вот так сила сочетается с подобной уничиженностью».

237

Непостижимо, что бог есть, непостижимо, что его нет; что у нас есть душа, что ее нет; что мир сотворен, что он нерукотворен; что первородный грех существует, что он не существует и т. д.

*Выбор.*— Человек должен устроить свою жизнь в согласии с одним из двух предположений: 1) что он будет жить вечно; 2) что срок его на земле мимолетен, быть может, меньше часа; так оно и есть на самом деле.

253

Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум.

254

Людей частенько приходится упрекать в излишней мягкотелости. Порок, не менее присущий людям, чем недоверчивость, и столь же зловредный,— суеверие.

261

Кто не любит истину, тот отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима, что боль-

шинство ее отрицает. Значит, его заблуждение сознательное, оно проистекает из нелюбви к истине и добру, и этому человеку нет прощения.

264

Людам не наскучивает каждый день есть и спать, потому что желание есть и спать каждый день возобновляется, а не будь этого, без сомнения, наскучило бы. Поэтому тяготится духовной пищей тот, кто не испытывает духовного голода. Алкание правды: высшее блаженство.

265

Вера говорит иное, чем наши чувства, но никогда не противоречит их свидетельствам. Она выше чувств, но не противостоит им.

Сколько звезд, неведомых философам былых времен, открыто с помощью подзорной трубы! А ведь эти философы выступали против Святого писания, утверждая: «На небе всего лишь тысяча двадцать две звезды, мы это твердо знаем».

«На земле есть травы, мы их видим». — «Но с Луны не увидели бы». — «На этих травах паутины, в паутинках насекомые — вот и все». — «Не слишком ли вы самонадеянны?» — «Сложные тела можно разложить на элементы, а элементы неразложимы». — «Не слишком ли вы самонадеянны? Ведь это совсем не простой вопрос». — «Чего не видишь, о том и говорить не следует». — «Говорите же, как все, но думайте по-своему».

267

Сила разума в том, что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять.

Ему часто непостижимы явления самые естественные, что уж говорить о сверхъестественных!

268

*Повиновение.* — Порою человек должен сомневаться, порою — твердо верить, порою — повиноваться общепринятому. Кто не следует этим правилам, тот неразумен. Люди часто их нарушают, веря всему, как доказанному, ибо ничего не понимают в доказательствах, или во всем сомневаясь, ибо не понимают, когда надо повиноваться общепринятому, или всему повинаясь, ибо не понимают, где надо пораскинуть собственным умом.

272

Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе.

293

«За что ты убиваешь меня?» — «Как за что? Друг, да ведь ты живешь на том берегу реки! Живи ты на этом, я и впрямь совершил бы не-правое дело, злодейство, если бы тебя убил. Но ты живешь по ту сторону, значит, дело мое правое, и я совершил подвиг!»

294

...На какой основе построит он тот мир, которым хочет управлять? На чьей-то прихоти? Какая неразбериха! На высшей справедливости?

219

Но он не знает, что такое высшая справедливость.

Если бы знал, разве придумал бы правило, что каждый должен следовать обычаям своей страны? И разве внедрилось бы оно в людские умы глубже всех других правил? Нет, свет истинной справедливости равно сиял бы для всех народов, и законодатели руководствовались бы только ею, а не брали бы за образец прихоти и выдумки персиян или немцев. Она царила бы во все времена и во всех странах, тогда как на деле понятия справедливого и несправедливого меняются с изменением географических координат. На три градуса ближе к полюсу — и вся юриспруденция летит вверх тормашками; истина зависит от меридиана; несколько лет владения новой собственностью — и от многовековых установлений не остается камня на камне; право подвластно времени; Сатурн, вошедший в созвездие Льва, знаменует очередное преступление. Хороша справедливость, которую ограничивает река! Истина по сю сторону Пиренеев становится заблуждением по ту.

Они утверждают, что справедливость надо искать не в обычаях, а в естественном праве, существующем у всех народов, и упрямо стояли бы на своем, если бы, по произволу случая, насаждающего людские законы, нашелся единственный действительно всеобщий закон. Но по иронии судьбы и многообразию людских прихотей такого закона нет. Кража, кровосмешение, дето- и отцеубийство — что только не объяснялось добродетелью! И как тут не удивляться — кто-то имеет право меня убить на том лишь основании, что я живу по ту сторону реки и что мой монарх поссорился с его монархом,

хотя я-то ни с кем не ссорился. Естественное право, разумеется, существует, но как его извратило несравненно извращенное утверждение: *Nihil amplius nostrum est; quod nostrum dicimus, artis est. Ex senatus consultis et plebiscitis crimina exercentur. Ut olim vitiis, sic nunc legibus laboramus*<sup>1</sup>.

Из-за этой неразберихи один видит основу справедливости в авторитете законодателя, другой — в нуждах монарха, третий — в существующем обычае; последнее, в общем, наименее шатко, потому что разум не способен отыскать такую справедливость, которую время не превращало бы в прах. Обычай правомочен по той простой причине, что общепринят, — в этом смысл его таинственной власти. Кто докапывается до корней обычая, тот его уничтожает. Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки: кто подчиняется им потому, что они справедливы, тот подчиняется справедливости, им самим вымышленной, а не сути закона, который сам себе обоснование. Он — закон, и больше ничего. Человек, решивший исследовать, на чем зиждется закон, увидит, как непрочен, неустойчив его фундамент, и, если он непривычен к зрелищу сумасбродств, рожденных людским воображением, будет долго удивляться, почему за какое-нибудь столетие к этому закону стали относиться так почтительно и даже благоговейно. Искусство подтачивания и ниспровержения государственных устоев как раз и состоит в колебании

---

<sup>1</sup> Нам уже ничего не принадлежит; то, что я называю «нашим», — понятие условное. Преступления совершаются на основании сенатских решений и плебисцитов. Некогда мы страдали из-за наших пороков, теперь страдаем из-за наших законов (лат.).

установленных обычаев, в исследовании их истоков, в доказательстве их несостоятельности и несправедливости. «Надо вернуться к естественному праву, к первоначальным государственным установлениям, уничтоженным несправедливым обычаем», — говорят эти люди. Но подобные игры ведут только к проигрышу, ибо при таком подходе несправедливым оказывается решительно все. Меж тем народ охотно прислушивается к ниспровергательным речам. Он начинает понимать, что ходит в ярме, и пытается его сбросить, и терпит поражение вместе с чересчур любознательными исследователями установленных обычаев, а выигрывают от этого лишь сильные мира сего. Но бывает и так, что люди впадают в противоположную крайность и считают себя вправе делать все, чему уже были примеры. Поэтому мудрейший из законодателей говорил, что людей ради их блага время от времени надо надувать, а другой, тонкий политик, писал: «Cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur»<sup>1</sup>. Узурпация должна быть скрыта от народа: когда-то для нее не было никакого разумного основания, но время придало ей видимость разумности. Пусть ее считают вековой и неистребимой, пусть не ведают, что у нее было начало, иначе ей быстро придет конец.

## 295

*Мое, твое.* — «Моя собака!» — твердили эти неразумные дети. «Мое место под солнцем!» Вот он — исток и символ незаконного присвоения земли.

---

<sup>1</sup> И так как он не ведает истины, дарующей освобождение, для него благо быть обманутым (лат.).



Когда встает вопрос, надо ли начинать войну и посылать на бойню множество людей, обрекать смерти множество испанцев, решает его один-единственный человек, к тому же лице-приятный, а должен был бы решать кто-то сторонний и беспристрастный.

*Veri juris*<sup>1</sup>.— Его у нас больше нет; существуй оно, мы не считали бы мерилом справедливости нравы нашей собственной страны.

И вот, отчаявшись найти справедливость, люди ухватились за силу и т. д.

*Справедливость, сила*.— Справедливо подчиняться справедливости, нельзя не подчиняться силе. Справедливость, не поддержанная силой, немощна, сила, не поддержанная справедливостью, тиранична. Бессильной справедливости всегда будут противоборствовать, потому что дурные люди не переводятся, несправедливой силой всегда будут возмущаться. Значит, надо объединить силу со справедливостью и либо справедливость сделать сильной, либо силу — справедливой.

Справедливость легко оспорить, сила очевидна и неоспорима. Поэтому справедливость так и не стала сильной — сила не признавала ее, утверждая, что справедлива только она, сила. И, неспособные сделать справедливость сильной, люди положили считать силу справедливой.

<sup>1</sup> Об истинном праве (лат.).

В вопросах обыденной жизни люди подчиняются законам своей страны, во всех остальных — мнению большинства, других общепринятых правил не существует. Почему? Да потому, что только за ними стоит сила. А вот у монархов есть еще сильное войско, так что мнение большинства министров для них не закон.

Разумеется, было бы справедливо все блага разделить между людьми поровну, но так как никому не удалось подчинить силу справедливости, то ее стали считать справедливой и законной; за невозможностью усилить справедливость узаконили силу, дабы отныне они выступали вместе и на земле водворился мир — величайшее из благ.

## 300

«Когда владения переходят во власть вооруженной силы, там водворяется мир».

## 301

Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому, что сильно.

Почему следуют стародавним законам и взглядам? Потому ли, что они здравы? Нет, потому, что общеприняты и не дают прорасти семенам раздора.

## 302

...Дело тут не в обычае, а в силе, потому что умеющие изобретать новое малочисленны, а

большинство хочет следовать лишь общепринятому и отказывает в славе изобретателям, жаждущим прославиться своими изобретениями, а если те упорствуют и выказывают презрение не умеющим изобретать, их награждают поносными кличками, могут наградить и палочными ударами. Не хвалитесь же своей способностью к нововведениям, довольствуйтесь сознанием, что она у вас есть.

### 303

«Миром правит не общественное мнение, а сила». — «Но как раз общественное мнение и пускает в ход силу». — «Нет, оно — порождение силы. На наш взгляд, мягкотелость — отличное свойство. Почему? Да потому, что решивший плясать на канате останется в одиночестве, а я тем временем сколочу банду сильных единомышленников, и они будут кричать, что пляски на канате — занятие непристойное».

### 304

Узы смиренного почтения, которыми одни члены общества связаны с другими, можно называть цепями необходимости, потому что различие в положении между людьми неизбежно: править хотят все, но способны на это немногие.

Представим себе, что мы присутствуем при зарождении какого-нибудь общества: ясно, что люди будут сражаться до тех пор, пока сильнейшая партия не одолеет слабейшую и не станет партией правящей. А когда это произойдет, победители, не желая продолжения борьбы,

прикажут силе, им подчиненной, поступить согласно их желанию: установить принцип народовластия или престолонаследия и т. д.

И вот тут вступает в игру воображение. До сих пор все покорялось насилию власти, а теперь сила начала опираться на воображение, которое во Франции возвеличивает дворян, в Швейцарии — простолюдинов и т. д.

Стало быть, узы смиренного почтения, которыми большинство связано с таким-то и таким-то, суть узы воображаемые.

### 305

Если швейцарца назвать человеком благородного происхождения, он оскорбится и начнет доказывать, что все его предки — простолюдины: в противном случае его сочтут недостойным высоких должностей.

### 306

Так как миром правит сила, то власть герцогов, королей, судей вполне реальна и необходима, и она пребудет всегда и везде. Но так как власть такого-то или такого-то герцога, короля или судьи основана лишь на воображении, она неустойчива, подвержена изменениям и т. д.

### 308

Привычка видеть королей в окружении охраны, барабанщиков, военных чинов и вообще всего, внушающего подданным почтение и страх, ведет к тому, что, даже когда короля никто не сопровождает, один его вид уже вселяет в лю-

дей почтительный трепет, ибо в своих мыслях они неизменно объединяют особу монарха с тем, что его обычно окружает. И народ, не понимая, что страх и почтение вызваны помянутой привычкой, приписывают их особым свойствам королевского сана. Этим и объясняется ходячее выражение: «На его лице — печать божественного величия» и т. д.

309

*Справедливость.*— Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения.

311

Власть, основанная на общественном мнении и воображении, мягка, полна доброй воли, но она преходяща, тогда как власть, основанная на силе, неискоренима. Поэтому можно сказать, что общественное мнение правит людьми, а сила их угнетает.

312

*Справедливость.*— Это нечто твердо установленное; поэтому каждый установленный закон люди признают справедливым, даже не вникая в него, поскольку он уже установлен.

313

*Народная мудрость.*— Нет беды страшнее, чем гражданская смута. Она неизбежна, если попытаться всем воздать по заслугам, потому что

каждый тогда скажет, что он-то и заслуживает награды. Глупец, взошедший на трон по праву наследования, тоже может причинить зло, но все-таки не столь большое и неизбежное.

### 315

*Причина следствий.*— Ну и ну! От меня требуют, чтобы я не выказывал почтения человеку, разодетому в полупарчу и окруженному десятком лакеев! Да если я ему не поклонюсь, он прикажет всыпать мне горячих! Его наряд — знак силы. Даже лошадей — и тех судят по богатству упряжи. Хорош Монтень, который будто бы не видит, в чем тут разница, и удивляется, что другие видят, и спрашивает, в чем тут причина. «С чего бы это...» и т. д.

### 316

*Народная мудрость.*— Щеголь вовсе не пустой человек: он показывает всему свету, что на него поработало немало людей, что над его прической трудились лакей и парикмахер, а над брызжами, шнурками, позументом... и т. д., и т. п. И это не просто блажь, красивая упряжь, нет, это знак того, что у него много рук. А чем больше у человека рук, тем он сильнее. Щеголь — сильный человек.

### 317

«Я утруждаю себя ради него» — в этом суть уважения к другому человеку. И не так это глупо, как кажется, напротив, глубоко справедливо, ибо означает: «Вам сейчас не нужно, что-

бы я себя утруждал, но я все-таки утруждаю и тем более буду утруждать, если это и впрямь понадобится». К тому же нет лучшего способа выказать уважение сильным мира сего: ведь если бы уважение к ним позволяло расслаиваться в креслах, вышло бы, что все всех уважают и между людьми нет никаких различий. А когда человек себя утруждает, различия становятся заметны — и еще как!

### 319

Очень правильно, что людей различают не по их внутренним свойствам, а по внешности. Кто из нас пройдет первый? Кто уступит дорогу другому? Тот, кто менее сообразителен? Но я так же сообразителен, как он, значит, придется пустить в ход силу. У него четыре лакея, у меня только один, — это очевидно, считать до четырех всякий умеет. Выходит, уступить должен я, спорить было бы глупо. Таким образом, мир сохранен, а что на свете дороже мира!

### 320

Из-за людского сумасбродства самое неразумное подчас становится разумным. Что может быть неразумнее обычая ставить во главе государства старшего сына королевы? Ведь никому не придет в голову ставить капитаном судна знатнейшего из пассажиров! Такой закон был бы нелеп и несправедлив. Закон престолонаследия, казалось бы, не менее странен, но он действует и будет действовать и, значит, становится разумным и справедливым, ибо кого нам следует выбирать? Самого добродетельного и со-

образительного? Но тогда рукопашная неизбежна, потому что каждый будет считать, что речь идет именно о нем. Значит, надо найти какой-нибудь неоспоримый признак. Вот этот человек — старший сын короля, тут спорить не приходится, это самое разумное решение, ибо гражданская смута — величайшая из бед.

322

Как велики преимущества знатности! С младых ногтей перед человеком открыты все поприща, и в восемнадцать лет он уже так известен и уважаем, как другой в пятьдесят: выиграны тридцать лет, и при этом безо всякого труда.

323

Что такое «я»?

У окна стоит человек и смотрит на прохожих; могу ли я сказать, идучи мимо, что он подошел к окну, только чтобы увидеть меня? Нет, ибо он думает обо мне лишь между прочим. Ну, а если кого-нибудь любят за красоту, можно ли сказать, что любят именно его? Нет, потому что если оспа, оставив в живых человека, убьет его красоту, вместе с ней она убьет и любовь к этому человеку.

А если любят мое разумение или память, можно ли в этом случае сказать, что любят меня? Нет, потому что я могу потерять эти свойства, не теряя в то же время себя. Где же находится это «я», если оно не в теле и не в душе? И за что любить тело или душу, если не за их свойства, хотя они не составляют моего «я», могущего существовать и без них? Возможно ли любить от-



влеченную суть человеческой души, независимо от присущих ей свойств? Нет, невозможно, да и было бы несправедливо. Итак, мы любим не человека, а его свойства.

Не будем же издеваться над тем, кто требует, чтобы его уважали за чины и должности, ибо мы всегда любим человека за свойства, полученные им в недолгое владение.

### 325

Монтень не прав: обычаю надо следовать потому, что он обычай, а вовсе не из-за его разумности. Меж тем народ соблюдает обычай, твердо веря, что он справедлив, в противном случае немедленно отказался бы от него, так как люди согласны повиноваться только разуму и справедливости. Неразумный или несправедливый обычай был бы сочтен тиранией, а вот власть разума и справедливости, равно как и наслаждения, никто не обвинит в тиранстве, потому что это — основы, на которых зиждется человеческая натура.

Итак, всего правильнее было бы подчиняться законам и обычаям просто потому, что они законы, мириться с тем, что ничего истинно справедливого все равно не придумать, что нам не разобраться в этом, и, значит, надо принять то, что уже существует, и, стало быть, никогда ничего не менять. Но народ глух к подобным рассуждениям, он убежден, что истина досягаема, что это она породила законы и обычаи, поэтому верит им, древность их происхождения считает доказательством истинности (а не просто авторитетности) и только поэтому готов им повиноваться. Но стоит объяснить народу, что такой-то

закон или обычай неоснователен — и он поднимает бунт; а ведь если присмотреться — неоснователен любой закон и любой обычай.

## 326

*Несправедливость.* — Опасно говорить народу, что законы несправедливы — он повинуетя им лишь до тех пор, пока верит в их справедливость. Стало быть, ему надо непрестанно внушать, что закону следует повиноваться, потому что он закон, а власти предержащей — потому что она власть, независимо от того, справедливы они или нет. Если народ это усвоит, опасность бунта будет предотвращена; это и есть, собственно говоря, определение справедливости.

## 327

Большинство людей правильно судит о предметах и явлениях, потому что пребывает в неведении, естественном состоянии человека. У всякого знания есть две крайние точки, и они соприкасаются. Одна — это полное и естественное неведение, в котором человек рождается; другой точки достигают возвышенные умы, познавшие все, что доступно человеческому познанию, уразумевшие, что по-прежнему ничего не знают, и, таким образом, вернувшиеся к тому самому неведению, от которого когда-то оттолкнулись. Но теперь это неведение умудренное, познавшее себя. А те, что вышли из природного неведения, но не достигли его противоположности, те набрались обрывков знаний и воображают, будто всё превзошли. Они-то и мутят мир, они-то и судят обо всем вкривь и вкось. Народ и сведущие лю-

ди составляют основу общества; всезнайки их презирают и презираемы ими, потому что, в отличие от большинства, не способны к здравым суждениям.

### 328

*Причина следствий.*— Последовательное опровержение всех «за» и «против».

Итак, мы показали, что человек суетен, ибо ценит несущественное, и все его суждения ничего не стоят. Но потом мы показали, что они вполне здравы и что народ вовсе не так суетен, как обычно утверждают, ибо его суетность глубоко обоснована; итак мы опровергли суждение, опровергающее суждения народа.

А теперь следует опровергнуть и это наше утверждение, показать, что, при всей здравости суждений, народ суетен, не понимает, в чем истина, видит ее там, где ее нет, и, таким образом, его суждения всегда неверны и неразумны.

### 329

*Причина следствий.*— Человеческая слабость — источник многих прекрасных вещей, например, искусной игры на флейте.

Плохо в этом только одно — наша слабость.

### 330

Мощь королей зиждется на разуме народа, равно как на его неразумии, и на втором больше, чем на первом. В основе величайшего в мире могущества лежит бессилие, и эта основа неколебимо крепка, ибо каждому ясно, что, предо-

ставленный самому себе, народ бессилён. Между тем основанное только на здоровом разуме весьма шатко, — например, уважение к мудрости.

### 331

Платон и Аристотель кажутся нам надутыми буквоедами, а в действительности они были достойные люди и любили, как все прочие, пошутить с друзьями. Они писали как бы играючи, когда развлекались сочинением: один — «Законов», а второй — «Политики», ибо сочинительство было для них занятием наименее мудрым и серьёзным, а истинная мудрость состояла в умении жить просто и спокойно. За политические писания они брались так, как берутся наводить порядок в сумасшедшем доме, и напускали на себя важность только потому, что знали: сумасшедшие, к которым они обращаются, мнят себя царями и императорами. Они становились на точку зрения безумцев, чтобы по возможности безболезненно умерить их безумие.

### 332

Тирания — это желание властвовать, всеобъемлющее и не признающее никаких законов.

Множество покоев, в них красавцы, силачи, остроумцы, благочестивцы, и каждый — владык только у себя и больше нигде. Но иной раз они встречаются, и силач с красавцем вступают в пелепую драку, стараясь подчинить один другого, хотя суть их власти глубоко различна. Они не могут сговориться, и вина их в том, что оба хотят во что бы то ни стало править всеми остальными. Но это не под силу никому, даже са-

мой силе: она ничего не значит в державе ученых и властвует лишь над людьми действия.

*Тирания.*— ...Поэтому неразумны и тираничны утверждения: «Я прекрасен, значит, меня надо бояться; я силен, значит, меня надо любить».

Тирания — это желание добиться чего-то неподобающими средствами. Разным свойствам мы воздаем по-разному: приятности — любовью, силе — страхом, знанию — доверием. Такая дань естественна, отказывать в ней несправедливо, равно как и несправедливо требовать иной дани. Точно так же неразумно и тиранично утверждать: «Он слаб — значит, я не стану его уважать; неучен — значит, не стану бояться».

### 333

Вам, конечно, случалось встречать людей, которые, жалуясь на ваше неуважение к ним, ссылались на влиятельных особ, высоко их ценивших? Я ответил бы им так: «Объясните, какими добродетелями вы расположили этих особ к себе, и я буду ценить вас не меньше, чем они».

### 334

*Причина следствий.*— Своекорыстие и сила — источники всех наших поступков: своекорыстие — источник поступков сознательных, сила — бессознательных.

### 339

Я легко представляю себе человека безрукого, безногого, безголового (ибо только опыт внуша-

ет нам, что голова нужнее ног), но не могу представить себе человека, неспособного мыслить: это будет уже не человек, а камень или тупое животное.

340

Действия арифметической машины больше похожи на действия мыслящего существа, нежели животного, но у машины нет собственной воли, а у животных есть.

344

Инстинкт и разум — признаки двух различных сущностей.

345

Мы должны повиноваться разуму беспрекословней, чем любому владыке, ибо кто перечит разуму, тот несчастен, а кто перечит владыке — только глуп.

346

Величие человека — в его способности мыслить.

347

Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная,

человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.

Итак, все наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом — основа нравственности.

### 348

*Мыслящий тростник.*— Наше достоинство — не в овладении пространством, а в умении разумно мыслить. Я не становлюсь богаче, сколько бы ни приобретал земель, потому что с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную.

### 350

*Стоики.*— Они убеждены, что удавшееся один раз удастся всегда и что, если славолубие помогает иным людям совершить подвиг, значит, на это способны все. Но что под силу больному горячкой, не по плечу здоровому человеку.

Из того, что на свете существуют стойкие христиане, Эпиктет делает вывод, будто стойким христианином может стать любой.

### 351

Душа не удерживается на высотах, которых в едином порыве порой достигает разум: она поднимается туда не как на престол, не навечно, а лишь на короткое мгновение.

Судить о добродетели человека следует не по его порывам, а по ежедневным делам.

Я лишь тогда восхищаюсь высокими проявлениями таких добродетелей, как отвага, когда их сопровождают столь же высокие проявления противоположных добродетелей: примером тому служит Эпаминонд, столь же отважный, сколь благожелательный. В противном случае человек не взлетает, а падает. Не в том величие, чтобы достичь одной крайности, а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все пространство между ними. «Но, может быть, оно во внезапном переходе души от одной крайности к другой, при том что, подобно языку пламени, она в каждый данный миг касается лишь одной точки?» — «Пусть так, ибо подобный переход свидетельствует если не о широте души, то хотя бы о ее стремительности».

Человек так устроен, что не может всегда идти вперед, — он то идет, то возвращается.

Больной горячкой то дрожит в ознобе, то весь пылает, и холод точно так же свидетельствует о силе горячки, как жар.

Таков из века в век и путь человеческих выдумок. То же самое можно сказать и о добре и зле в этом мире. *Plerumque gratae principibus vices*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Перемены по вкусу сильным мира сего (лат.).



И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть.

Владетельные князья и короли подчас развлекаются играми. Им стало бы скучно, если бы они всегда восседали на престолах: чтобы по-настоящему наслаждаться величием, с ним иногда нужно расставаться. Однообразие приедается: в холода приятно погреться.

Природе свойственно неравномерное движение, *itus et reditus*<sup>1</sup>, она идет и возвращается, начинает бежать, почти останавливается, делает шагжок, потом рывок и т. д.

Взять, к примеру, приливы и отливы или, скажем, движение Солнца.

Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают обступать пороки — сперва незаметно, незримо, путями подползают мельчайшие, потом толпою небегают огромные, и вот он уже окружен пороками и больше не видит добродетелей. И даже готов стереть в порошок совершенство.

Человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное.

---

<sup>1</sup> Уход и возвращение (лат.).

Мы стойки в добродетели не потому, что сильны духом, а потому, что нас с двух сторон поддерживает напор противоположных пороков, подобный напору ветров, дующих навстречу друг другу: стоит нам избавиться от одного порока — и мы оказываемся во власти другого.

Требования стойков так неисполнимы и так суетны!

Они утверждают, будто всякий, не достигший глубин мудрости, глуп и порочен, — словом, равняют его с человеком, который погрузился в воду всего на два пальца.

*Мысль.* — Все достоинство человека — в его способности мыслить.

Следовательно, мысль по своей природе замечательна и несравненна, и только неслыханные недостатки могли бы превратить ее в нелепость. Так вот, их полным-полно, и притом самых смехотворных. Как она возвышенна по своей природе! И как низменна из-за этих недостатков!

А что сказать об этой моей мысли? До чего она глупа!

Дух этого верховного судии подлунной юдоли так зависит от всякого пустяка, что малейший шум его помрачает. Отнюдь не только гром пу-

шек мешает ему здраво мыслить: довольно скри-па какой-нибудь флюгарки или блока. Не удивляйтесь, что сейчас он рассуждает не очень разумно: рядом жужжит муха, вот он и не способен дать вам дельный совет. Хотите, чтобы ему открылась истина? Прогоните насекомое, которое затмевает и держит в плену это сознание, этот могучий разум, повелевающий городами и державами. Ну и божество, нечего сказать! *O ridicolissimo* егое! <sup>1</sup>

### 367

Могущество мух: они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела.

### 368

Когда нам говорят, что тепло — это движение неких частиц, а свет — не более чем *sonatus recedendi* <sup>2</sup>, мы не можем прийти в себя от удивления. Как! Источник наших наслаждений — всего-навсего пляска животных духов? А мы представляли себе это совсем иначе. Ведь так различны ощущения, чья природа, как нас уверяют, совершенно одинакова! Тепло, исходящее от огня, звуки, свет воздействуют на нас по-иному, чем прикосновение к коже, мнятся чем-то таинственным, и вдруг оказывается — они грубы, как удар камнем. Разумеется, крохотные частицы, проникающие в поры тела, раздражают не те нервы, что камень, однако речь идет все о том же раздражении нервов.

---

<sup>1</sup> О, смехотворнейший из героев! (*ит.*)

<sup>2</sup> Центробежная сила (*лат.*).

Разум всегда и во всем прибегает к помощи памяти.

Иной раз, когда я собираюсь записать пришедшую мне в голову мысль, она внезапно улетучивается. Тут я вспоминаю о забытой было немощи моего разума, а это не менее поучительно, чем забытая мысль, потому что стремлюсь я только к одному: познать собственное свое ничтожество.

Больше всего меня удивляет то, что люди не удивляются немощи своего разума. Они серьезнейшим образом следуют всем заведенным обычаям, и вовсе не потому, что полезно повиноваться общепринятому, а потому, что твердо убеждены в правильности и справедливости своих действий. Ежечасно попадая впросак, они с забавным смирением винят в этом себя, а не те житейские правила, постижением которых так хвалятся. Этих людей очень много, они слыхом не слыхивали о пирронизме, но служат вящей его славе, являя собой пример человеческой способности к самым бессмысленным заблуждениям: они ведь даже и не подозревают, насколько естественна и неизбежна эта немошь их разума, — напротив, неколебимо уверены в своей врожденной мудрости.

Особенно укрепляют учение Пиррона именно те, кто не разделяет его философии: будь пир-

рониками все без исключения, в пирронизме не оказалось бы и крупницы истины.

### 376

Учение Пиррона укрепляют не столько его последователи, сколько противники, ибо бессилие людского разума куда очевиднее у тех, кто не подозревает о нем, чем у тех, кто его сознает.

### 377

Речи о смирении полны гордыни у гордецов и смирения у смиренных. Точно так же полны самоуверенности суждения людей самоуверенных, даже когда они последователи Пиррона. Мало кто способен смиренно говорить о смирении, целомудренно — о целомудрии, во всем сомневаясь — о пирронизме. Мы исполнены лживости, двоедушия, противоречий, вечно скрытничаем и обманываем самих себя.

### 378

*Пирронизм.* — В безрассудстве равно упрекают и высочайший ум, и предельную глупость. Хвалят только середину. Так постановило большинство, и оно больно кусает всякого, кто близок к той или иной крайности. Я не упорствую, согласен быть в середине и отказываюсь от нижнего края не потому, что он нижний, а потому, что край: точно так же я отказался бы и от верхнего. Кто вне середины, тот вне человечества. Истинное величие души как раз и состоит в умении придерживаться середины, в том, чтоб оставаться в ней, а не выскакивать из нее.

Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды.

Все правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым — за умением ими пользоваться. Например:

Все знают, что во имя общего блага надо жертвовать жизнью, и действительно, иные жертвуют; но во имя религии на такую жертву не идет никто.

Неравенство неизбежно, это очевидно, но стоит его признать — и вот уже распахнуты двери не только сильной власти, но и нестерпимой тирании.

Людскому разуму надо дать хотя бы немного свободы, но это распахивает двери самой гнусной распущенности. «Что ж, ограничьте эту свободу». — «В природе не существует пределов: закон пытается их поставить, но разум не желает с ними мириться».

Кто слишком молод, тот не умеет здраво судить, равно как и тот, кто слишком стар; кто слишком мало или слишком много размышлял над каким-нибудь вопросом, тот будет упрямиться, стоять на своем; кто выносит приговор своему труду, едва успев его окончить или окончив давным-давно, тот слишком пристрастен к нему или безразличен. Так же обстоит дело и с картинами, если смотреть на них с расстояния слишком большого или слишком малого. Существует лишь одна-единственная правильная точ-

ка зрения, другие или слишком отдалены, или слишком приближены, слишком высоки или слишком низки. В живописи такую точку зрения помогают найти законы перспективы, но что поможет ее найти в вопросах истины и нравственности?

### 382

Когда все предметы равномерно движутся в одну сторону, кажется, будто они неподвижны,— например, когда находишься на корабле. Когда все идут по пути безнравственности, никто этого не видит. И только если кто-нибудь, остановившись, уподобляется неподвижной точке, мы замечаем бег остальных.

### 383

Живущий в скверне кричит, что он-то и следует законам природы, а вот живущий в чистоте их нарушает, так, плывущему на корабле кажется, будто стоящие на берегу отступают назад. И правый и неправый отстаивают свое убеждение одинаковыми словами. Для верного суждения нужна неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно судит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы могли бы правильно судить о людской нравственности?

### 384

Споры вокруг какого-нибудь положения ничего не говорят об его истинности: иной раз несомненное вызывает споры, а сомнительное проходит без возражений. Споры не означают ошибочности утверждения, равно как всеобщее согласие — его правильности.

*Пирронизм.*— Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно. Конечная истина не такова: она беспримесно и безусловно истинна. Всякая примесь пятнает истину и сводит на нет. В нашем мире ничто не бывает безусловно истинно и, значит, все ложно, разумеется, в сравнении с конечной истиной. Мне возразят: убийство дурно, вот вам конечная истина. Да, ибо мы твердо знаем, что такое зло и безнравственность. Но в чем заключается добродетель? В целомудрии? Нет, отвечу я, потому что вымер бы род человеческий. В брачном сожителстве? Нет, в воздержании больше добродетели. В том, чтобы не убивать? Нет, потому что нарушился бы всякий порядок и злодеи поубивали бы праведных. В том, чтобы убивать? Нет, убийство уничтожает живую тварь. Наша истина и наше добро только отчасти истина и добро, и они запятнаны злом и ложью.

Если бы нам еженощно снилось одно и то же, оно трогало бы нас не меньше, чем ежедневная явь. Думаю, если бы ремесленник твердо знал, что каждую ночь, двенадцать часов сряду, будет грезить, будто наделен королевской властью, он был бы почти так же счастлив, как король, которому каждую ночь, двенадцать часов сряду, снилось бы, будто он ремесленник.

Если бы еженощно нам казалось во сне, что нас преследуют враги, и мы терзались бы этими мучительными видениями, если бы чудилось, что наши дни наполнены непрерывной суетой, как



оно бывает во время путешествий, мы страдали бы немногим меньше, чем если бы этот сон был явью, и боялись бы уснуть, как боятся проснуться люди, которым и впрямь грозят подобные невзгоды. Да, в этом случае сны терзали бы нас почти так же, как явь.

Но сны не похожи один на другой, а если и похожи, то все-таки чем-то разнятся, и они действуют на нас не так сильно, как явь, потому что она устойчивее и неизменнее, хотя и не совсем устойчива и тоже меняется, но не так быстро, разве что во время путешествий, и тогда мы говорим: «Мне кажется, я грежу», — потому что жизнь — тоже сон, только менее отрывистый.

### 389

Екклезиаст с очевидностью показывает, что безбожник обречен на неведение и глубоко несчастен. Ибо суть несчастья в том, чтобы хотеть и не мочь. Меж тем всякий человек хочет счастья, хочет уверенности, что ему открыта хотя бы крупица истины; но безбожник ничего не знает, а жажда знания неистребима. Он даже сомневаться не может.

### 394

Любое исходное положение правильно — и у пирроников, и у скептиков, и у атеистов, и т. д. Но выводы у всех ошибочны, потому что противоположное исходное положение тоже правильно.

### 395

*Инстинкт. Разум.* — Мы бессильны что-либо доказать, и перед этим бессилием отступает са-

мый завзятый догматизм. В нас заложено понятие истины, и перед этим понятием отступает самый завзятый пирронизм.

396

Человек познаёт, что он такое, с помощью двух наставников: инстинкта и опыта.

397

Величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает.

Итак, человек чувствует себя ничтожным, ибо понимает, что он ничтожен; этим-то он и велик.

398

Ничтожество человека лишь подтверждает его величие: он ничтожен, как вельможа, как низложенный король.

399

Разрушенный дом не чувствует себя ничтожным, ибо лишен сознания. Только человек сознает свое ничтожество. *Ego vir videns*<sup>1</sup>.

400

*Величие человека.*— Наше понятие о человеческой душе так высоко, что мы не выносим, когда в душе другого человека живет презрение к нам. Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают.

---

<sup>1</sup> Я — человек, испытавший (горе) (лат.).

*Слава.*— Животные не восхищаются друг другом. Лошадь не приходит в восторг от другой лошади; конечно, они соревнуются на ристалище, но это не имеет значения: в стойле самый тихходный, дрянной коняга никому не уступит своей порции овса, а будь он человек — пришлось бы. Животные не знают, что их достоинства должны быть вознаграждены.

Человек велик даже в своем своекорыстии, ибо это свойство научило его соблюдать образцовый порядок в делах и благотворительствовать по расписанию.

Славолюбие — самое низменное свойство человека и вместе с тем самое неоспоримое доказательство его высокого достоинства, ибо, даже владея обширными землями, крепким здоровьем, всеми насущными благами, он не знает довольства, если не окружен уважением ближних. Превыше всего он ценит людской разум, и даже почтеннейшее положение не радует его, если этот разум отказывает ему в почете. Почет — заветная цель человека, он будет всегда неодолимо стремиться к ней, и никакая сила не искоренит из его сердца желание ее достичь.

И даже если человек презирает себе подобных и приравнивает их к животным, все равно, вопреки самому себе, он будет добиваться всеобщего признания и восхищения: он не в силах

противи́ться собственной натуре, которая твердит ему о величии человека более убедительно, чем разум — о низменности.

405

*Противоречие.*— Гордыня перевешивает в душе человека сознание собственных несовершенств. Она либо вообще их утаивает, либо, вынужденная признать, тут же начинает хвалиться своей проницательностью.

407

Стоит злонамеренности перетянуть на свою сторону разум, как она преисполняется гордыни и выставляет союзника напоказ во всем его блеске. Точно так же она кичится, когда суровое самоограничение и подвижничество терпят неудачу и победу одерживает естество.

408

Зло дается всем без труда, и оно многолико, тогда как добро, можно сказать, всегда одинаково. Но бывает разновидность зла почти столь же редкая, как то, что носит название добра,— вот почему этот особый вид зла нередко именуют добром. Более того, совершающий такое зло должен обладать не меньшим величием души, чем творящий добро.

409

*Величие человека.*— Величие человека так несомненно, что подтверждается даже его ничто-

жеством. Ибо ничтожеством мы именуем в человеке то, что в животных считается естеством, тем самым подтверждая, что если теперь его натура мало чем отличается от животной, то некогда, пока он не пал, она была непорочна.

Ибо тоскует по монаршьему сану лишь тот, кто его лишился. Разве считали Павла Эмилия несчастным, когда кончился срок его консульства? Напротив, думали — какой счастливец, он все-таки был консулом, ну, а пожизненно это звание никому не дается. Меж тем монарший сан — пожизненный, поэтому низложенного царя Персея считали таким несчастным, что дивились — как это он мог не покончить с собой? Кто страдает из-за того, что у него только один рот? И кто не страдал бы, останься у него только один глаз? Вряд ли кто-нибудь горюет из-за отсутствия третьего глаза, но безутешен тот, кто ослеп на оба.

## 411

Мы сознаем всю горестность нашего бытия, несущего нам беды, всегда грозящего гибелью, и все-таки не утрачиваем некоего инстинкта, неистребимого и нас возвышающего.

## 412

Междоусобица разума и страстей в человеке. Будь у него только разум... Или только страсти... Но, наделенный и разумом и страстями, он непрерывно воюет сам с собой, ибо примиряется с разумом, только когда борется со страстями, и наоборот. Поэтому он всегда страдает, всегда раздираем противоречиями.

Из-за этой междоусобицы разума и страстей люди, стремившиеся жить в мире с собой, разделились на две секты: одни решили отказаться от страстей и стать богами, другие — от разума и уподобиться тупым животным. Но все их усилия оказались тщетны, и разум по-прежнему клеймит страсти за их низость и несправедливость, нарушая покой тех, кто им предается, и страсти по-прежнему бушуют в тех, кто жаждет от них избавиться.

Люди безумны, и это столь общее правило, что не быть безумцем было бы тоже своего рода безумием.

Человеческую натуру можно рассматривать двояко: исходя из конечной цели, и тогда человек возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных свойств, как рассматривают лошадь или собаку, исходя из их обычных свойств — способности к бегу, *et animum arscendi*<sup>1</sup>, — и тогда человек низок и отвратителен. Вот два пути, которые привели к стольким разногласиям и философским спорам.

Потому что одни оспаривают других, утверждая: «Человек не рожден для этой цели, ибо все его поступки ей противоречат», — а те, в свою очередь, твердят: «Эти низменные поступки лишь удаляют его от конечной цели».

---

<sup>1</sup> Стремления отогнать (лат.).

Опасное дело — убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее — не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой природы. Благотворно одно — рассказать ему и о той его стороне, и о другой.

Человек не должен приравнивать себя ни к животным, ни к ангелам, не должен и пребывать в неведении о двойственности своей природы. Пусть знает, каков он в действительности.

Если человек восхваляет себя, я его унижаю, если унижает — восхваляю, и противоречу ему до тех пор, пока он не уразумевает, какое он непостижимое чудовище.

Я равно порицаю и того, кто взял себе за правило только восхвалять человека, и того, кто всегда его порицает, и того, кто насмехается над ним. Я с тем, кто, тяжко стеноя, пытается обрести истину.

*Противоречие. После того, как были показаны величие и низость человека.*— Пусть же человек знает, чего он стоит. Пусть любит себя, ибо он способен к добру, но не становится из-за этого

снисходителен к низости, заложенной в его натуре. Пусть презирает себя, ибо способность к добру остается в нем втуне, но не презирает самое эту способность. Пусть и ненавидит себя и любит: в нем есть способность познать истину и стать счастливым, но познания его всегда шатки и неполны.

Я хотел бы подвигнуть человека на поиски всеобъемлющей истины, на готовность отказаться от страстей и следовать за ней по тому пути, на котором она ему открылась, памятуя при этом, что наше сознание помрачено страстями; хотел бы посеять в нем ненависть к своекорыстию, влекущему его за собой, дабы оно не ослепило его, когда надо будет сделать выбор, и не остановило, когда выбор уже сделан.

## 425

*Вторая часть. О том, что человек неверующий никогда не познает ни истинного блага, ни справедливости.*— Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений; способы у них разные, но цель одна. Гонятся за ним и те, что добровольно идут на войну, и те, что сидят по домам, — каждый ищет по-своему. Человеческая воля направлена на достижение только этой цели. Счастье — побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься.

Но при том, что люди добиваются счастья испокон веков, никому не удалось стать счастливым, если им не руководила вера в бога. Все жалуются на свой удел — владыки и подданные, вельможи и простолюдины, старые и молодые, ученые и невежды, здоровые и больные, чем бы



они ни занимались, где бы, когда бы и сколько бы лет ни жили на свете.

Столь длительные и тщетные старания должны были бы убедить нас в бессилии всех наших потуг обрести счастье, но примеры нам не наука: даже в самых схожих случаях всегда есть какое-то пустячное отличие, и оно вселяет в нас надежду, что на этот раз мы стараемся не зря. И вот, неудовлетворенные настоящим, вечно обманутые в ожиданиях, мы идем от несчастья к несчастью — и приходим к смерти, венцу всякой жизни.

Но разве это алкание и это бессилие не есть несомненное свидетельство того, что некогда человек знал истинное счастье, а теперь на память об этом ему осталась лишь пустая скорлупа, которую он пытается чем-то заполнить, и, не находя радости в уже добытом, гонится за новой добычей, и опять без проку, потому что бесконечную пустоту может заполнить лишь нечто бесконечное и неизменное, то есть бог?

В нем и только в нем наше истинное благо, но мы его утратили и с той поры бессмысленно пытаемся заменить чем попало: светилами, небом, землей, стихиями, растениями, капустой, пореем, животными, насекомыми, тельцами, змеями, лихорадкой, чумой, войной, голодом, пороком, прелюбодеяниями, кровосмешением. И с той поры, как нами утрачено истинное благо, мы готовы принять за него что угодно, даже самоуничтожение, как ни противно оно богу, разуму, природе. Одни ищут счастья в могуществе, другие — во всевозможных диковинах, третьи — в сладострастии. Но иные поняли — и они-то ближе всех к цели, — что столь желанное людям всеобщее благо никак не может быть в тех ценностях, кото-

рые или принадлежат кому-то одному, или разделенные, не столько радуют владельца принадлежащей ему частью, сколько печалят отсутствующей. Они уразумели, что истинным благом следует считать только то, чем могут владеть все поровну и одновременно, не завидуя друг другу, ибо кто не захочет его утратить, тот никогда и не утратит. И, твердо зная, что желание счастья соприсродно людям, так как живет в каждом человеке, они пришли к выводу...

427

Человек не знает, к кому себя сопричислить в мире. Он чувствует, что заблудился, упал отсюда, где было его истинное место, и теперь не находит дороги назад, хотя, снедаемый тревогой, без устали ищет в непроницаемом мраке.

437

Мы жаждем истины, а находим в себе лишь неуверенность.

Мы ищем счастья, а находим лишь горести и смерть.

Мы не можем не желать истины и счастья, но не способны ни к твердому знанию, ни к счастью. Это желание оставлено в нашей душе не только, чтобы покарать нас, но и чтобы всечасно напоминать о том, с каких высот мы упали.

439

*Испорченность человеческой природы.*— Человек не способен руководствоваться разумом, хотя разум — суть его природы.

Истинная натура человека, равно как истинное его благо, и добродетель, и вера познаваемы лишь в своей целокупности.

Люди ненавидят друг друга,— такова их природа. И пусть они пытаются поставить своекорыстие на службу общественному благу,— эти попытки только лицемерие, подделка под милосердие, потому что в основе основ все равно лежит ненависть.

Жалость к обездоленным легко уживается со своекорыстием. Более того, люди рады отдать дань добрым чувствам, прославиться мягкосердечием и при этом ничего от себя не оторвать.

Своекорыстие послужило основой и материалом для превосходнейших правил общежития, нравственности, справедливости, но так и осталось гнусной основой человека, *figmentum mali*<sup>1</sup>: оно скрыто, но не уничтожено.

«Пристрастие к своему «я» заслуживает ненависти; вы, Митон, лишь прикрываете его, а

---

<sup>1</sup> Сгустком зла (лат.).

не уничтожаете, значит, тоже заслуживаете ненависти». — «Вы не правы, ведь мы ведем себя так предупредительно со всеми, что не вызываем ничьей ненависти». — «Это было бы верно, если бы речь шла только о том «я», которое навлекает на себя неудовольствие ближних; но моя ненависть вызвана его неискоренимой несправедливостью, его почитанием себя превыше всего и всех, поэтому я буду всегда его ненавидеть.

Словом, у «я» два свойства: во-первых, оно несправедливо по самой своей сути, ибо почитает себя превыше всего и всех; во-вторых — неудобно для ближних, ибо стремится подчинить их себе; каждое «я» враждебно всем прочим и хотело бы всех тиранить. Ваше поведение устраняет неудобство, но несправедливость как была, так и остается, значит, кто ее ненавидит, тот и ко всякому «я» относится с ненавистью; зато оно теперь по душе несправедливцам, которых вы научили умасливать другие «я». Стало быть, Митон, вы несправедливы и нравитесь только себе подобным».

## 456

Людские суждения так извращены, что нет человека, который не ставил бы себя превыше всех людей на свете, не дорожил бы своим благом и каждым часом своего счастья и жизни больше, чем благом, счастьем и жизнью прочих смертных!

## 457

Для человека все сущее — в нем самом, ибо, когда он умирает, для него умирает и все сущее. Поэтому каждый думает, что для всех он тоже

всё. Будем же судить о природе, исходя из нее, а не из нас.

462

*Поиски истинного блага.*— Большинство людей ищет блага в богатстве и прочих мирских благах или хотя бы в развлечениях. Все философы доказывали, что это — тщета, но каждый определял благо на свой лад.

464

*Философы.*— Мы полны желаний, которые не позволяют нам замкнуться в нашем внутреннем мире.

Некое бессознательное чувство нашептывает, что в себе мы не обретем счастья. Страсти толкают во внешний мир, даже когда их ничего там не приманивает: предметы этого мира влекут и соблазняют нас, даже когда мы о них не думаем. Так что, сколько бы философы ни твердили: «Замкнитесь в себе, и обретете истинное благо», — верят им только люди, у которых пусто и в голове и в сердце.

465

Стойки говорят: «Уйдите в себя, и обретете покой». И это заблуждение.

Другие говорят: «Не замыкайтесь в себе, ищите счастья в развлечениях». И это заблуждение: людей настигают недуги.

Счастье не вне и не внутри нас; оно — в боге, вне нас и внутри.

Я понимаю, что меня могло и не быть; мое «я» — в способности мыслить, но я мыслящий не появился бы на свет, если бы мою мать убили до того, как я стал одушевленным существом. Значит, я не необходим, равно как не вечен и не бесконечен. Но все говорит мне о том, что в природе есть некто необходимый, вечный и бесконечный.

Наше своеволие таково, что, добейся оно всего на свете, ему и этого будет мало. Но стоит от него отказаться — и мы полны довольства. Своевольному всегда всего мало, смиренному всегда всего вдоволь.

Уверенность, что мы достойны любви ближних, — заблуждение, желание добиться ее — несправедливость. Родись мы разумными и нелিপцприятными, понимай и себя и других, у нас не было бы воли к этой любви. Но мы с ней рождаемся на свет, то есть рождаемся несправедливыми, потому что каждый радеет только о себе. Это противно разумному порядку, радеть надо обо всех людях. Любой беспорядок — в государственном ли управлении или в ведении войны, в хозяйстве или в жизни отдельного человека — проистекает от себялюбия. Стало быть, оно порочно.

Члены природных и гражданских сообществ должны радеть о благе своих сообществ, а сооб-

щества — о благе того единого, в которое все они входят. Радеть надо только об общем. Стало быть, мы рождаемся несправедливыми и развращенными.

485

Итак, единственная истинная добродетель — в ненависти к себе (ибо человеческое «я» так своекорыстно, что только ненависти и достойно) и в поисках существа, которое мы любили бы потому, что оно подлинно достойно любви. Но мы не способны любить то, что вне нас, поэтому обратим любовь на существо, которое, не будучи нами, живет во всех нас без исключения. Но в мироздании есть лишь одно такое существо. Царство Божие в нас самих, всеобщее благо в нас самих, оно — и мы сами, и не мы.

492

Кто не питает ненависти к своему себялюбию и всегдашнему желанию обожествлять себя, тот просто слеп. Ведь так ясно, что это желание противно истине и справедливости. И неправда, что мы достойны обожествления, и несправедливо к этому стремиться, и невозможно этого достичь, потому что все до единого хотят того же. И выходит, что мы от природы несправедливы, и нам не отделаться от своей несправедливости, а отделаться необходимо.

495

Если ужасно ослепление того, кто живет, не пытаясь понять, что он такое, насколько ужас-

нее ослепление того, кто верит в бога и все-таки живет во зле.

496

Мы по опыту знаем, как велика разница между благочестием и добротой.

505

Убить нас может любая малость, даже предмет, созданный для нашего удобства; например, нас убивают стены дома или, скажем, ступеньки лестницы, если мы неосторожно ступаем.

Любое движение отзывается во всей природе; море изменяет облик из-за одного-единственного камня. И в вопросах благодати любой человеческий поступок отзывается на всех людях. Значит, в мире нет ничего несущественного.

Перед тем как что-то сделать, надо подумать не только о самом поступке, но и о нас самих. о нашем настоящем, прошлом и будущем, и о людях, которых этот поступок касается, и поставить все это во взаимосвязь. И тогда мы будем очень осмотрительны.

534

Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками.

535

Будем благодарны тому, кто говорит нам о наших недостатках, ибо он учит смирению и от-



крывает глаза на то, что люди считают нас достойными презрения. От презрения он, разумеется, не спасает, слишком много у нас других недостатков, зато готовит к делу исправления и уничтожения хотя бы этих.

583

Гнусны те люди, которые знают, в чем истина, но стоят за нее, лишь пока им это выгодно, а потом отстраняются.

864

В наши времена, когда истина скрыта столькими покровами, а обман так прочно укоренился, распознать истину может лишь тот, кто горячо ее любит.

893

Показывающий истину внушает веру в нее, но показывающий несправедливость министров ничуть их не исправляет. Обличая ложь, человек очищает совесть, но, обличая несправедливость, он не спасает кошелька.

895

С какой легкостью и самодовольством злодействует человек, когда он верит, что творит благое дело!

263

Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать их число! *Vince in bono malum*<sup>1</sup>.

*Всеобщность.*— Нравственность и язык — предметы наук частных и в то же время всеобщих.

---

<sup>1</sup> Победи зло добром (*лат.*).

# Жан де Лабрюйер

---

1645–1696





# **ИЗ «ХАРАКТЕРОВ, ИЛИ ПРАВОВ НЫНЕШНЕГО ВЕКА»**

## **Глава I**

### **О ТВОРЕНИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА**

#### **1**

Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди. Урожай самых мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими правами снят, и нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними философами и мудрейшими из наших современников.

#### **2**

Пусть каждый старается думать и говорить разумно, но откажется от попыток убедить других в непогрешимости своих вкусов и чувств: это слишком трудная затея.

#### **3**

Писатель должен быть таким же мастером своего дела, как, скажем, часовщик. Одним умом тут не обойдешься. Некий судья отличался незаурядными достоинствами, был и проницателен и опытен, но напечатал книгу о морали — и она оказалась редкостным собранием благоглупостей.

Труднее составить себе имя превосходным сочинением, нежели прославить сочинение посредственное, если имя уже создано.

Мы приходим в восторг от самых посредственных сатирических или разоблачительных сочинений, если получаем их в рукописи, из-под по-лы и с условием вернуть их таким же способом; настоящий пробный камень — это печатный станок.

Если из иных сочинений о морали исключить обращение к читателям, посвяtitельное послание, предисловие, оглавление и похвальные отзывы, останется так мало страниц, что вряд ли они могли бы составить книгу.

Есть области, в которых посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство.

Какая пытка слушать, как оратор напыщенно произносит скучную речь или плохой поэт с пафосом читает посредственные стихи!

В искусстве есть некий предел совершенства, как в природе — предел благорастворенности и

зрелости. У того, кто чувствует и любит такое искусство,— превосходный вкус; у того, кто не чувствует его и любит все стоящее выше или ниже,— вкус испорченный; следовательно, вкусы бывают хорошие и дурные, и люди правы, когда спорят о них.

## 11

Люди часто руководствуются не столько вкусом, сколько пристрастием; иначе говоря, на свете мало людей, наделенных не только умом, но, сверх того, еще верным вкусом и способностью к справедливым суждениям.

## 12

Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев; поэтому я затрудняюсь сказать, кто кому больше обязан: пишущие историю — тем, кто одарил их столь благородным материалом, или эти великие люди — своим историкам.

## 13

Хвалебные эпитеты еще не составляют похвалы. Похвала требует фактов, и притом умело поданных.

## 14

Весь талант сочинителя состоит в умении живописать и находить точные слова. Только обра-

зы и определения ставят Моисея <sup>1</sup>, Гомера, Платона, Вергилия и Горация выше других писателей; кто хочет писать естественно, изящно и сильно, должен всегда выражать истину.

## 15

Мы питаемся тем, что нам дают писатели древности и лучшие из новых, выжимаем и вытягиваем из них все, что можем, насыщая этими соками наши собственные произведения; потом, выпустив их в свет и решив, что теперь-то мы уже научились ходить без чужой помощи, мы восстаем против наших учителей и дурно обходимся с ними, уподобляясь младенцам, которые бьют своих кормилиц, окрепнув и набравшись сил на их отличном молоке.

Некий современный сочинитель все время старается нас убедить, что древние писатели хуже новых, причем применяет два вида доказательств: рассуждение и пример. Рассуждает он, основываясь на собственном вкусе, а примеры берет из собственных произведений.

Он признает, что хотя слог у древних неровный и неправильный, все же у них есть удачные места; он приводит цитаты, и они так прекрасны, что ради них стоит прочесть даже его критику.

## 16

Сочинители должны были бы охотно читать свои труды тем просвещенным людям, которые видят все недостатки произведения и умеют правильно его оценить.

---

<sup>1</sup> Хотя Моисей и не считается писателем.



Не слушать ничьих советов и отвергать все поправки может только педант.

Сочинитель должен с одинаковой скромностью выслушивать и похвалу и критику.

## 17

Среди множества выражений, передающих нашу мысль, по-настоящему удачным может быть только одно; хотя в беседе или за работой его находишь не сразу, тем не менее оно существует, а все остальные неточны и не могут удовлетворить вдумчивого человека, который хочет, чтобы его поняли.

Хороший и взыскательный автор знает, что выражение, найденное после долгих и трудных поисков, оказывается обычно самым простым, самым естественным — первым, которое безо всяких усилий должно было бы прийти в голову.

Люди, пишущие под влиянием минутной настроенности, потом много правят свои произведения. Но настроенность меняется под влиянием различных обстоятельств, и тогда эти люди охладевают к тем самым выражениям и словам, которые особенно им нравились.

## 18

Ясность ума, которая помогает нам писать хорошие книги, в то же время заставляет нас сомневаться, так ли уж они хороши, чтобы их стоило читать.

Сочинитель, у которого не слишком много здравого смысла, уверен, что он пишет божественно; здравомыслящий писатель надеется, что он пишет разумно.

Мы так любим критиковать, что теряем способность глубоко чувствовать поистине прекрасные творения.

У Теокрина немало бесполезных знаний и весьма странных предубеждений: он скорее методичен, чем глубок, недостаток ума восполняет памятью, рассеян, высокомерен и всегда как будто насмехается над теми, кто, по его мнению, недостаточно его ценит. Как-то случилось мне прочесть ему написанный мною труд; он его выслушал. Не успел я окончить, как он заговорил о своем произведении. «А что он думает о вашем?» — осведомитесь вы. Я ведь уже ответил: он заговорил о своем.

Как ни безупречно произведение, от него не останется камня на камне, если автор, прислушиваясь к критике, поверит всем своим судьям, ибо каждый из них потребует исключить именно то место, которое меньше всего ему понравилось.

Всем известно, что если десять человек требуют, чтобы какое-либо выражение или какую-либо мысль автор вычеркнул из книги, то другие десять несогласны с ними. «Зачем исключать эту мысль? — говорят они. — Она свежа,

прекрасна и великолепно выражена». Между тем первые продолжают утверждать, что они вовсе пренебрегли бы ею или, по крайней мере, иначе выразили бы ее. «У вас есть словечко, отлично найденное и живо рисующее то, о чем вы пишете», — говорят одни. «У вас есть словечко, — говорят другие, — слишком уж рискованное и не соответствующее тому, что вы, вероятно, хотели сказать». Так эти люди относятся к одному и тому же выражению, к одному и тому же штриху, а ведь все они знатоки или слынут знатоками. Автору, пожалуй, остается один только выход: набравшись смелости, согласиться с теми, кто его одобряет.

## 28

Писатель, наделенный умом, не должен обращать внимание на вздорную, грязную, злобную критику своего произведения, на глупые толкования отдельных мест и, уж во всяком случае, не должен вычеркивать эти места. Он отлично знает, что, как бы тщательно он ни отделял книгу, насмешники все равно обрушатся на нее с издевками, стараясь разбранить самое лучшее, что есть в его творении.

## 30

Как велико различие между произведением просто изящным и произведением совершенным или образцовым! Не знаю, существуют ли еще в наше время творения последнего рода. Даже немногочисленным писателям, наделенным большим талантом, легче, пожалуй, достичь истинного благородства и величия, нежели избежать

всякого рода погрешностей стиля. «Сид» при своем рождении был встречен единодушным гулом одобрения. Эта трагедия оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить; за нее дружно высказались люди, которые обычно придерживаются разных взглядов и мнений, — вельможи и простолюдины: все они знали ее назубок и во время представления подсказывали реплики актерам. Словом, «Сид» — это одно из совершеннейших творений словесности, и тем не менее один из самых обоснованных в мире критических разборов — это разбор «Сида».

### 31

Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера.

### 33

Газетчик обязан сообщать публике, что вышла в свет такая-то книга, что она издана Крамуази, отпечатана таким-то шрифтом на хорошей бумаге, красиво переплетена и стоит столько-то. Он должен изучить всё — вплоть до вывески на книжной лавке, где эта книга продается; но боже его избави пускаться в критику.

Высокий стиль газетчика — это пустая болтовня о политике.

Раздобыв какую-нибудь новость, газетчик спокойно ложится спать; за ночь она успевает протухнуть, и поутру, когда он просыпается, ее приходится выбрасывать.

Глупцы читают книгу и ничего не могут в ней понять; заурядные люди думают, что им все понятно; истинно умные люди иной раз понимают не все: запутанное они находят запутанным, а ясное — ясным. Так называемые умники изволят находить неясным то, что ясно, и не понимают того, что вполне очевидно.

Я не представляю себе, что письма можно писать остроумнее, приятнее, изящнее и легче по слогу, чем их писали Бальзак и Вюатюр. Правда, письма эти еще не проникнуты чувствами, которые распространились позднее и своим появлением обязаны женщинам. В произведениях этого рода прекрасный пол одареннее нас: под их пером непринужденно рождаются выражения и обороты, которые нам даются лишь ценой долгих поисков и тяжких усилий. Женщины на редкость счастливо выбирают слова и с такой точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая. Только женщинам дано одним словом выразить полностью чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством смысла. Смею утверждать, что если бы они к тому же еще блюли правильность языка, во всей французской словесности не было бы лучше написанных произведений.

Единственный недостаток Теренция — некоторая холодность; зато какая чистота, точность, утонченность, грация, какие характеры! Единственный недостаток Мольера — некоторая простонародность языка и грубость слога; зато какой пыл и непосредственность, какое неистощимое веселье, какие образы, какое умение воссоздать нравы людей и высмеять глупость! И какой получился бы писатель, если бы слить воедино этих двух комедиографов!

Два писателя высказывали в своих трудах неодобрение Монтеню; я тоже считаю, что Монтень не свободен от недостатков, но они, видимо, вообще нисколько его не ценили. Один из них недостаточно мыслил, чтобы ценить автора, который мыслил много; другой мыслил слишком утонченно, чтобы ему могли правиться простые мысли.

Г. Г. стоит несколько ниже полного ничтожества; впрочем, подобных изданий у нас немало. Тот, кто ухитряется нажить состояние на глупой книге, в такой же мере себе на уме, в какой неумен тот, кто ее покупает; однако, зная вкус публики, трудно порой не подсунуть ей какой-нибудь чепухи.

Знатоки или те, что почитают себя таковыми, выносят окончательные и бесповоротные при-

говоры театральным представлениям; они укрепляются на своих позициях и делятся на враждующие партии, причем каждая из них, руководствуясь отнюдь не интересами публики или справедливости, восхищается только одним творением, поэтическим или музыкальным, и освистывает все остальное. Они защищают свои предубеждения с пылом, вредным в равной степени и противной стороне, и их собственному кружку: непрерывными противоречиями они обескураживают как поэтов, так и музыкантов и, задерживая развитие искусств и наук, лишают нас возможности собрать урожай, который мог бы созреть, если бы несколько истинно талантливых людей, вступив в свободное соревнование, создали бы, каждый на свой лад и в соответствии со своим дарованием, прекрасные произведения искусства.

## 50

Почему зрители в театре так откровенно смеются и так стыдятся плакать? Разве человеку менее свойственно сострадать тому, что достойно жалости, чем хохотать над глупостью? Быть может, мы боимся, что при этом исказятся наши лица? Но самая горькая скорбь не искажает их так, как неумеренный смех,—недаром же мы отворачиваемся, когда хотим посмеяться в присутствии вельмож и вообще уважаемых нами людей. Или мы не желаем показать, как нежно наше сердце, не желаем проявить слабость, тем более что речь идет о вымысле и кто-нибудь может подумать, будто мы приняли его за правду? Но если не говорить о серьезных и глубоко-мысленных людях, которые считают слабостью

как неудержимый смех, так и потоки слез, равно воспрещая себе и то и другое, скажите на милость, чего, собственно, мы ждем от трагедии? Веселья? Но ведь мы знаем, что трагические образы могут быть не менее правдивы, чем комические! Разве мы заразимся радостью или грустью, если не поверим тому, что происходит на сцене? И разве нас так легко удовлетворить, что мы не станем требовать правдоподобия? Иногда какое-то место в комедии вызывает взрыв смеха у всего амфитеатра: это говорит о том, что пьеса забавна и хорошо сыграна; но нередко бывает и так, что все с трудом удерживают слезы, стараясь скрыть их натянутым смешком: это доказывает, что хорошая трагедия обязательно должна вызывать искренние слезы, которые зрителям следовало бы без всякого смущения откровенно вытирать на виду друг у друга. К тому же, как только публика решит смело проявлять свои чувства в театре, она сразу обнаружит, что ей угрожает не столько опасность заплакать, сколько опасность умереть от скуки.

## 51

Трагедия с первых же реплик завладевает сердцем зрителя и до конца спектакля не позволяет ему ни прийти в себя, ни перевести дух; если же она и дает передышку, то для того только, чтобы погрузить в новые бездны, вселить новые тревоги. Она ведет его от сострадания к ужасу или, напротив, от ужаса к состраданию и, заставив испытать поочередно неуверенность, надежду, боязнь, удивление и страх, исторгнув слезы и рыдания, делает свидетелем катастрофы. Отсюда можно сделать вывод, что траге-



дия — это отнюдь не переплетение изысканных чувств, нежных изъяснений, любовных признаний, приятных портретов, слащавых или забавных и смешных словечек, завершающихся в последней сцене<sup>1</sup> тем, что мятежники отказываются внять голосу рассудка и, приличия ради, проливается кровь какого-нибудь несчастного, который, по воле автора, платит за все это своей жизнью.

## 52

Мало того, что нравы комических героев не должны вселять в нас отвращение, им еще следует быть поучительными и благопристойными. Смешное может выступать в образе столь низком, грубом или скучном и неинтересном, что поэту непозволительно задерживать на нем свой взгляд, а зрителю — развлекаться им. Сочинитель фарсов может подчас вывести в нескольких сценах крестьянина или пьяницу, но в настоящей комедии им почти нет места: как могут они составить ее основу или быть ей движущей пружиной? Нам скажут, что такие характеры обычны в жизни; если следовать этому замечанию, то скоро весь амфитеатр будет лицезреть насвистывающего лакея, больного в халате, пьянчугу, который храпит или блюет, — что может быть обычнее? Для фата вполне естественно вставать поздно, немалую часть дня проводить за туалетом, душиться, налеплять мушки, получать записочки и отвечать на них; дайте актеру изобразить этот характер на сцене: чем больше времени он будет все это проделывать —

---

<sup>1</sup> Сцена мятежа — обычная развязка заурядных трагедий.

акт, два акта,— тем правдивее сыграет свою роль, но тем скучнее и бесцветней окажется пьеса.

53

Пожалуй, роман и комедия могли бы принести столько же пользы, сколько сейчас они приносят вреда: в них порою встречаются такие прекрасные примеры постоянства, добродетели, нежности и бескорыстия, такие замечательные и высокие характеры, что, когда юная девушка, отложив книгу, бросает вокруг себя взгляд и видит людей недостойных, стоящих куда ниже тех, которые только что так ее восхищали, она, мне кажется, не может почувствовать к этим людям ни малейшей склонности.

54

Там, где Корнель хорош, он превосходит все самое прекрасное; он своеобразен и неподражаем, но неровен. Его первые пьесы были скучны и тягучи; читая их, невольно удивляешься тому, что он вознесся потом на такие вершины, равно как, читая его последние пьесы, недоумеваешь, как мог он так низко пасть. Даже в лучших его трагедиях встречаются непростительные нарушения правил, обязательных для автора драматических произведений: напыщенная декламация, которая задерживает или совсем останавливает развитие действия, крайняя небрежность в стихах и оборотах, непонятная у столь замечательного писателя. Более всего поражает в Корнеле его блистательный ум, которому он обязан лучшими из когда-либо существовавших

стихов, общим построением трагедии, порою идущим вразрез с канонами античных авторов, и, наконец, развязками пьес, где опять-таки он иногда отступает от вкуса древних греков, от их великой простоты; напротив, он любит нагромождение событий, из которого почти всегда умеет выйти с честью. Особенное восхищение вызывает то обстоятельство, что Корнель так разнообразен в своих многочисленных и непохожих друг на друга творениях. Трагедии Расина, пожалуй, отмечены бóльшим сходством, большей общностью основных идей; зато Расин ровнее, сдержаннее и никогда не изменяет себе — ни в замысле, ни в развитии пьес, всегда правильных, соразмерных, не отступающих от здравого смысла и правды; он отлично владеет стихом, точным, богатым по рифме, изящным, гибким и гармоничным. Словом, Расин во всем следует античным образцам, у которых он полностью заимствовал четкость и простоту интриги. При этом Расин умеет быть величавым и потрясающим, точно так же как Корнель — трогательным и патетичным. Какая нежность сквозит в каждой строке «Сида», «Полиевкта», «Горация»! Какое величие ощущаем мы в образах Митридата, Пора и Бурра! Оба, и Корнель и Расин, в равной мере умели вызывать те чувства, которыми древние так любили волновать зрителей, — то есть ужас и сострадание: Орест в «Андромахе» Расина и Федра в его одноименной трагедии, Эдип и Гораций Корнеля — вот свидетельства этому. Если все же дозволено провести сравнение между этими писателями, отметить черты, которые особенно свойственны каждому из них и чаще всего встречаются в их творениях, то, быть может, лучше всего сказать

так: Корнель подчиняет нас мыслям и характерам своих героев, Расин приноравливается к нам. Один рисует людей, какими им следует быть, другой — такими, как они есть; героями первого мы восхищаемся и находим их достойными подражания; в героях второго обнаруживаем свойства, известные нам по нашим собственным наблюдениям, чувства, пережитые нами самими. Один возвышает нас, повергает в изумление, учит, властвует над нами; другой нравится, волнует, трогает, проникает в душу. Первый писал о том, что всего прекраснее, благороднее и сильнее в человеческом разуме, второй — о том, что всего неотразимее и утонченнее в человеческих страстях. У одного — наставления, правила, советы, у другого — пристрастия и чувства. Корнель овладевает умом, Расин потрясает и смягчает сердце. Корнель требовательнее к людям, Расин их лучше знает. Один, пожалуй, идет по стопам Софокла, другой скорее следует Еврипиду.

## 56

Чтобы писать ясно, каждый сочинитель должен поставить себя на место читателей; пусть он взглянет на свое произведение так, словно прежде ни разу его не видел, читает впервые, непричастен к нему и должен высказать свое мнение о нем; пусть он сделает это и убедится: труд его не понят не потому, что люди стараются понять лишь самих себя, а потому, что понять его в самом деле невозможно.

## 57

Всякий сочинитель хочет писать так, чтобы его поняли; но при этом нужно писать о том, что

сто́ит понимания. Бесспорно, обороты должны быть правильны, а слова точны, однако этими точными словами следует выражать мысли благородные, яркие, бесспорные, содержащие глубокую мораль. Дурное употребление сделает из ясного и точного слога тот, кто станет описывать им вещи сухие, ненужные, бесполезные, лишенные остроты и новизны. Зачем читателю легко и без затруднений понимать глупые и легкомысленные книги или скучные и общеизвестные рассуждения? Зачем ему знать мысли автора и зевать над его творениями?

Если сочинитель хочет придать своему произведению некоторую глубину, если он старается сообщить своему слогу изящество, иной раз даже чрезмерное, — это говорит лишь о том, что он отличного мнения о читателях.

## 59

Одни достойны похвал и прославления за то, что хорошо пишут, другие — за то, что вовсе не пишут.

## 63

Критика — это порою не столько наука, сколько ремесло, требующее скорей выносливости, чем ума, прилежания, чем способностей, привычки, чем одаренности. Если ею занимается человек более начитанный, нежели проницательный, и если он выбирает произведения по своему вкусу, критика портит и читателей и автора.

## 65

Человеку, родившемуся христианином и французом, нечего делать в сатире: все подлинно

важные темы для него под запретом. Все же он иногда осторожно притрагивается к ним, но тотчас отворачивается и берется за всякие пустяки, силой своего гения и красотой слога преобразуя их в нечто значительное.

## 67

Кто пишет, заботясь только о вкусах своего века, тот больше думает о себе, нежели о судьбе своих произведений. Следует неустанно стремиться к совершенству, и тогда награда, в которой порой нам отказывают современники, будет воздана потомками.

## 69

«Гораций и Депрео говорили это до вас». Верю вам на слово, но все же это мои собственные суждения. Разве я не могу разумно думать и после них, как другие будут разумно думать и после меня?

## Глава II

### О ДОСТОИНСТВАХ ЧЕЛОВЕКА

#### 1

Может ли даже очень даровитый и наделенный незаурядными достоинствами человек не преисполниться сознанием своего ничтожества при мысли о том, что он умрет, а в мире никто не заметит его исчезновения и другие сразу займут его место?

У многих людей нет иных достоинств, кроме их имени. Посмотришь на них вблизи и видишь, до чего они ничтожны; а ведь издали они внушают уважение!

Я не сомневаюсь, что люди, назначенные на различные должности, каждый сообразно способностям и умению, справляются со своим делом хорошо; но все же осмелюсь предположить, что на свете найдется еще немало людей, известных и неизвестных, которые справились бы не хуже: к этой мысли я пришел, наблюдая за теми, что возвысились не из-за всеми признанных достоинств, а лишь благодаря случаю, и, однако, необычайно отличились на своих новых постах.

Столько замечательных людей, одаренных редкими талантами, умерли, не сумев обратить на себя внимание! Сколько их живет среди нас, а мир молчит о них и никогда не будет говорить!

Как бесконечно трудно человеку, который не принадлежит ни к какой корпорации, не ищет покровителей и приверженцев, держится особняком и не может представить иных рекомендаций, кроме собственных незаурядных дарований,— как трудно ему выбиться на поверхность и стать вровень с глупцом, который обласкан судьбой.

## 5

Мало кто станет по собственному почину думать о заслугах ближнего.

Люди так заняты собой, что у них нет времени вглядываться в окружающих и справедливо их оценивать. Вот почему те, у кого много достоинств, но еще больше скромности, нередко остаются в тени.

## 6

Одним не хватает способностей и талантов, другим — возможности их проявить; поэтому людям следует воздавать должное не только за дела, ими свершенные, но и за дела, которые они могли бы свершить.

## 7

Легче встретить людей, обладающих умом, нежели способностью употреблять его в дело, ценить ум в других и находить ему полезное применение.

## 8

На свете больше инструментов, чем мастеров, а если говорить о мастерах, то плохих больше, чем хороших. Что вы сказали бы о человеке, которому вздумалось бы пилить рубанком и строгать пилой?

## 9

Неблагодарное ремесло избрал тот, кто пытается создать себе громкое имя. Жизнь его подходит к концу, а работа едва начата.



Как быть с Эгезиппом, который хлопочет о месте? Куда его пристроить — по финансовой ли части или на военную службу? Это безразлично, лишь бы должность приносила побольше доходов: он так же способен считать деньги и вести конторские книги, как носить оружие. «Эгезипп все умеет», — твердят его приятели, а это означает, что у него нет никаких особых талантов или, попросту говоря, что он ничего не умеет. Подобно Эгезиппу, большинство людей, в юности занятых только собою, развращенных праздностью и наслаждениями, ошибочно полагают в зрелые годы, что стоит им оказаться без дела или в нужде, как государство поспешит к ним на помощь и определит их на службу. Не многим идет на пользу следующая мудрая истина: лишь тот, кто смолоду трудился, просвещал свой ум, набрался знаний, приобрел опыт и стал как бы неотъемлемой частью государственного здания, — лишь тот действительно так необходим государству, что оно, во имя собственной выгоды, готово заботиться о его благе и приумножении его богатств.

Каждый из нас должен быть достоин должности, которую занимает; только об этом нам и следует заботиться: остальное — дело других.

Только человек с твердым характером и незаурядным умом может, живя во Франции, обходиться без должности и службы, по доброй воле замкнуться в четырех стенах и ничего не делать. Мало кто обладает столь высокими ка-

чествами, чтобы достойно вести подобный образ жизни, и таким духовным богатством, чтобы заполнить свой досуг не «делами», как их называет светская чернь, а совсем иными занятиями. Все же было бы справедливо, если бы эти занятия, состоящие из чтения, бесед и раздумий о том, как обрести душевный покой, именовали бы не праздностью, а трудом мудреца.

## 15

За усердное исполнение своего долга благородный человек вознаграждает себя удовлетворением, которое он при этом испытывает, и не заботится о похвалах, почете и признательности, в которых ему подчас отказывают.

## 16

Если бы я решился сравнивать людей, далеко не равных по их жизненному положению, я сказал бы, что истинно храбрый воин исполняет свой долг примерно так, как кровельщик кроет крышу: оба они не ищут опасности, но и не бегут от нее, рассматривая смерть как неприятность, сопряженную с их ремеслом и поэтому неизбежную. Первому точно так же не придет в голову бахвалиться тем, что он побывал в траншее, ринулся на приступ или взял укрепление, как второму — тем, что он влез на конек крыши или на колокольню. И тот и другой стараются лишь получше исполнить свою обязанность, меж тем как фанфарон тщится получше выглядеть в глазах других людей.

Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и рельефность.

Внешняя простота — это будничная одежда заурядных людей, по их мерке скроенная и для них сшитая; в то же время — это чудесный убор для людей, совершивших великие деяния: глядя на них, я вспоминаю красивых женщин, которые тем пленительнее, чем меньше заботятся о своей прелести.

Иные люди, вполне довольные собой, своими поступками и недурными произведениями, но наслышанные о том, что величию подобает быть скромным, смеют напускать на себя скромность, подделываются под естественность и простоту: они напоминают мне невысоких людей, которые, входя в двери, пригибаются, чтобы не набить себе шишку о притолоку.

Думая о наших друзьях, мы должны помнить лишь об их высоких и дорогих для нас достоинствах, а не о том, благоприятствует ли им судьба. Если мы твердо знаем, что готовы разделить с ними все невзгоды, то смело и без оглядки можем искать их общества в дни полного их благополучия.

Мы постоянно восхищаемся всякими редкостями; почему же мы так равнодушны к добродетели?

Хорошо быть знатным, но не хуже быть и таким человеком, о котором никто уже не спрашивает, знатен он или нет.

Время от времени на земле рождаются необыкновенные, замечательные люди, чья добродетель сверкает, чьи высокие достоинства отбрасывают яркий сноп лучей. Подобно тем удивительным звездам, происхождение которых нам неизвестно, равно как и неизвестна их судьба после того, как они исчезают с нашего горизонта, у этих людей нет ни предков, ни потомков: они сами составляют весь свой род.

Когда человек владеет тайнами своего искусства и создает совершенные творения, он как бы выходит за пределы этого искусства и становится вровень со всеми самыми благородными и возвышенными умами. В. — живописец, К. — музыкант, автор «Пирама» — поэт, но Люлли — это Люлли, Миньяр — это Миньяр, Корнель — это Корнель.

Человек свободный, холостой и к тому же неглупый может занять более высокое положение, чем ему было предназначено по праву рождения, войти в светское общество и стать на равную ногу с самыми именитыми людьми. Куда

труднее сделать это женатому: брак словно вводит всех людей в назначенные им рамки.

27

Следует подчас быть снисходительным к человеку, который, гордясь большой свитой, богатым нарядом и роскошным экипажем, мнит себя выше других по уму и знатности, — ведь подтверждение этому он находит в глазах и жестах людей, которые к нему обращаются.

29

Во Франции воины храбры, а судьи учены. В Риме судьи были храбры, а воины учены: каждый римлянин соединял в себе воина и судью.

30

Мне кажется, что только одно сословие, а именно военное, может породить героев, между тем как великие люди встречаются и среди судебных, и среди военных, и среди ученых, и среди придворных; но и герой, и великий человек вместе взятые не стоят одного истинно нравственного человека.

31

В военном деле различие между героем и великим человеком очень тонко: и тот и другой должен обладать всеми воинскими доблестями. И все же мне кажется, что первый — непременно

но молод, предприимчив, отважен, неколебим в минуты опасности и бесстрашен, тогда как второй отличается ясным разумом, дальновидностью, незаурядными дарованиями и большим опытом. Быть может, Александр был всего лишь героем, а вот Цезарь — великий человек.

### 34

Люди близорукие, я хочу сказать — недалекие и ограниченные узким кругом своих интересов, не понимают, что в одном человеке порою сочетаются самые разнообразные таланты. Они убеждены, что приятность в обхождении говорит о легкомыслии, они отказывают в праве на возвышенный и глубокий ум, широту суждений, мудрость тому, кто изящно сложен, подвижен, гибок и ловок; из жизнеописания Сократа они вычеркивают то обстоятельство, что он был отличным плясуном.

### 35

Как бы ни был человек хорош и добр к своим близким, он все же дает им при жизни достаточно оснований для того, чтобы утешиться после его кончины.

### 37

В любом самом мелком, самом незначительном, самом неприметном нашем поступке уже сказывается весь наш характер: дурак и входит, и выходит, и садится, и встает с места, и молчит, и двигается иначе, нежели умный человек.

Этот человек может жить в своем дворце, где есть и летнее и зимнее помещение, но он предпочитает ночевать на антресолях в Лувре; побуждает его к этому отнюдь не скромность. Другой, желая сохранить стройную фигуру, не пьет вина и ест только раз в день, хотя он отнюдь не поклонник трезвенности и воздержания. Третий, после настойчивых просьб, приходит наконец на помощь своему обедневшему другу: не великодушные толкают его на это — просто он хочет, чтобы его оставили в покое, и готов щедро платить за это. Побудительные причины — вот что определяет ценность человеческих поступков; благородно только то, что бескорыстно.

Кто сделал людям добро, тот добрый человек; кто пострадал за совершенное им добро, тот очень добрый человек, — тем добрее, чем сильнее пострадал, особенно, если в его страданиях виноваты люди, им облагодетельствованные; кто принял за это смерть, тот достиг вершин добродетели, героической и совершенной.

### Глава III О ЖЕНЩИНАХ

#### 1

Мнение мужчин о достоинствах какой-нибудь женщины редко совпадает с мнением женщин: их интересы слишком различны. Те милые по-

вадки, те бесчисленные ужимки, которые так нравятся мужчинам и зажигают в них страсть, отталкивают женщин, рождая в них неприязнь и отвращение.

### 3

Я знавал женщину, которая мечтала сперва стать девушкой в возрасте от тринадцати до двадцати двух лет,— само собой разумеется, красивой,— а потом превратиться в мужчину.

### 4

Молодые женщины не всегда понимают, как чарует приятная внешность, дарованная судьбой, и как полезно было бы им не разрушать этого очарования. Они портят столь редкостный и хрупкий дар природы жеманством и подражанием дурным образцам. У них все заемное — даже голос, даже походка. Они усваивают то, что им не свойственно, проверяя в зеркале, довольно ли они непохожи на самих себя, и затрачивают немало труда, чтобы казаться менее привлекательными.

### 5

Подобно тому как рыбу надо мерить, не принимая в расчет головы и хвоста, так и женщин надо разглядывать, не обращая внимания на их прическу и башмаки.

### 7

Кокетка до последнего своего вздоха уверена, что она хороша собой и нравится мужчинам.



Она относится ко времени и годам как к чему-то, что покрывает морщинами и обезображивает только других женщин, и забывает, что возраст написан и на ее лице. Наряд, который в юности украшал ее, теперь лишь портит, оттеняя все убожество старости. Жеманство и слащавость сопутствуют ей в недугах и немощи, и умирает она в пышном уборе и пестрых бантах.

## 8

Лиза слышит, как о некоей презируемой ею кокетке говорят, что та молодится и носит наряды, которые не пристали женщине за сорок. Лизе тоже все сорок, но для нее в году куда меньше двенадцати месяцев, и к тому же они ее не старят. Так считает Лиза. Накладывая румяна, прилепляя мушки, она глядится в зеркало и думает, что женщине в летах молодиться неприлично и что Кларисса с ее румянами и мушками действительно отменно смешна.

## 10

На свете нет зрелища прекраснее, чем прекрасное лицо, и нет музыки слаще, чем звук любимого голоса.

## 11

У каждого свое понятие о женской привлекательности; красота — это нечто более незыблемое и не зависящее от вкусов и суждений.

## 12

Порою женщины, чья красота совершенна, а достоинства редкостны, так трогают наше серд-

це, что мы довольствуемся правом смотреть на них и говорить с ними.

14

У молодых женщин подчас невольно вырываются слова и жесты, которые глубоко трогают того, к кому они относятся, и бесконечно ему льстят. У мужчин почти не бывает таких порывов; их услужливость нарочита, они говорят, действуют, прельщают — и трогают куда меньше!

16

Чем больше милостей женщина дарит мужчине, тем сильнее она его любит и тем меньше любит ее он.

17

Когда женщина перестает любить мужчину, она забывает все — даже милости, которыми его дарила.

18

Женщина, у которой один любовник, считает, что она совсем не кокетка; женщина, у которой несколько любовников, — что она всего лишь кокетка.

Женщина, которая столь сильно любит одного мужчину, что перестает кокетничать со всеми остальными, слывет в свете сумасбродкой, сделавшей дурной выбор.

Давнишний любовник так мало значит для женщины, что его легко меняют на нового мужа, а новый муж так быстро теряет новизну, что почти сразу уступает место новому любовнику.

Давнишний любовник опасается соперника или презирает его в зависимости от характера дамы своего сердца.

Давнишний любовник отличается от мужа нередко одним лишь названием; впрочем, это весьма существенное отличие, без которого он немедленно получил бы отставку.

## 20

Кокетство в женщине отчасти оправдывается, если она сладострастна. Напротив, мужчина, который любит кокетничать, хуже, чем просто распутник. Мужчина-кокетка и женщина-сладострастница вполне стоят друг друга.

## 21

Тайных любовных связей почти не существует: имена многих женщин так же прочно связаны с именами их любовников, как и с именами мужей.

## 22

Сладострастная женщина хочет, чтобы ее любили; кокетке достаточно нравиться и слыть красивой. Одна стремится вступить в связь с мужчиной, другая — казаться ему привлекательной. Первая переходит от одной связи к другой, вто-

рая заводит несколько интрижек сразу. Одной владеет страсть и жажда наслаждения, другой — тщеславие и легкомыслие. Сладострастие — это изъяс сердца или, быть может, натуры; кокетство — порок души. Сладострастница внушает страх, кокетка — ненависть. Если оба эти свойства объединяются в одной женщине, получается характер, наигнуснейший из возможных.

## 24

Мы называем непостоянной женщину, которая разлюбила; легкомысленной — ту, которая сразу полюбила другого; ветреной — ту, которая сама не знает, кого она любит и любит ли вообще; холодной — ту, которая никого не любит.

## 25

Вероломство — это ложь, в которой принимает участие, так сказать, все существо женщины; это умение ввести в обман поступком или словом, а подчас — обещаниями и клятвами, которые так же легко дать, как и нарушить.

Если женщина неверна и это известно тому, кому она изменяет, она неверна — и только; но если он ничего не знает — она вероломна.

Женское вероломство полезно тем, что излечивает мужчин от ревности.

## 26

Иные женщины поддерживают изо дня в день две любовных связи, которые столь же трудно сохранить, как и порвать: одной из этих связей недостает брачного контракта, другой — любви.

Судя по красоте этой женщины, по ее молодости, гордости и разборчивости, она может отдать сердце только герою; но выбор ее уже сделан: она любит презренного негодяя, который к тому же еще глуп.

Некоторые женщины более чем зрелых лет то ли по неодолимой потребности, то ли по дурной склонности легко становятся добычей молодых людей, находящихся в стесненных обстоятельствах. Не знаю, кто больше достоин жалости — немолодые женщины, которые нуждаются в юнцах, или юнцы, которые нуждаются в старухах.

Столичный житель для провинциалки — то же, что для столичной жительницы — придворный.

Для светских женщин садовник — просто садовник, каменщик — просто каменщик. Для других, живущих более замкнутой жизнью, и садовник и каменщик — мужчины. Не спастись от искушения тому, кто его боится.

Иные женщины щедры на даяния монастырям и дары своим любовникам; распутные и благо-

честивые, они даже в божьем храме заводят себе отдельные молельни и ложи и читают там любовные записки, не опасаясь соглядатаев, которые могли бы обнаружить, что погружены они отнюдь не в молитвы.

### 37

Если исповедник женщины и ее духовный наставник не сходятся в том, как ей следует себя вести, кто будет тем третьим, кого она изберет судьей?

### 38

Главное для женщины не в том, чтобы иметь духовного наставника, а в том, чтобы жить разумно и не нуждаться в нем.

### 39

Если бы, исповедуясь в грехах, женщина сознавалась бы, какую слабость она питает к своему духовному наставнику и сколько времени проводит в его обществе, ей, быть может, пришлось бы в качестве епитимьи расстаться с ним.

### 41

Пускать в ход против мужа и кокетство и ханжество чересчур жестоко; женщинам следовало бы выбирать либо то, либо другое.

### 51

Я знаю женщин, которые друзьям предпочитают деньги, а деньгам — любовников.

Как это ни странно, на свете существуют женщины, которых любовь к мужчине волнует меньше, чем другие страсти,— я имею в виду честолюбие и страсть к карточной игре. Мужчины сразу становятся целомудренными в присутствии таких женщин, ибо женского в них только одежда.

Женщины ни в чем не знают середины: они или намного хуже, или намного лучше мужчин.

У большинства женщин нет принципов: они повинуются голосу сердца, и поведение их во всем зависит от мужчин, которых они любят.

Женщины умеют любить сильнее, нежели большинство мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе.

Женщины не любят друг друга, и причина этой нелюбви — мужчина.

Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем собственную, а женщина лучше хранит свою, нежели чужую.

Как бы сильно ни любила молодая женщина, она начинает любить еще сильнее, когда к ее чувству примешивается своекорыстие или честолюбие.

Сколько на свете девушек, которым их незаурядная красота не дала ничего, кроме надежды на незаурядное богатство.

Красивые девушки, которые дурно обращались со своими поклонниками, не остаются безнаказанными: обычно за их вздыхателей им мстят уродливые, или старые, или недостойные мужья.

Если мужчину мучит вопрос, не изменился ли он, не начал ли стареть, ему следует заглянуть в глаза молодой женщине и обратить внимание на то, как она с ним разговаривает: он сразу узнает то, что так боится узнать. Суровый урок!

Когда женщина не спускает глаз с мужчины или все время отводит их от него, все сразу понимают, что это значит.



Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду.

В жизни нередки случаи, когда женщина из всех сил скрывает страсть, которую испытывает к мужчине, в то время как он так же прилежно разыгрывает любовь, которой вовсе к ней не чувствует.

Мужчине легко обмануть женщину притворными клятвами, если только он не таит в душе истинной любви к другой.

Мужчина громко негодует на женщину, которая его разлюбила, — и быстро утешается; женщина не столь бурно выражает свои чувства, когда ее покидают, но долго остается безутешной.

Если женщина ленива, ее могут исцелить от этого порока только тщеславие и любовь.

Когда деятельная женщина становится ленивой, это признак того, что она полюбила.

Я знаю женщину, которая до такой степени пренебрегает своим мужем и умалчивает о его существовании, что в обществе о нем даже не упоминают. Жив он? Умер? Никто не имеет об этом никакого понятия. В своей семье он являет собой образец робкой, безропотной, рабской покорности. Когда он похоронит свою половину, ему не выделят вдовьей части, ему не придется носить траурную вуаль, но, не считая этого, да еще неспособности рожать детей, он — жена, а она — муж. Они месяцами живут под одной кровлей, не подвергаясь ни малейшей опасности встретиться; они — всего только соседи. Счета мясника и повара всегда оплачивает хозяин, но это мясо всегда едят на званых ужинах у хозяйки. Между ними нет ничего общего — ни супружеского ложа, ни стола, ни даже имени: по греческому или по римскому обыкновению, у каждого свое. Лишь хорошо освоившись с жаргоном и нравами столицы, начинаешь наконец понимать, что господин Б. вот уже двадцать лет действительно муж госпожи Л.

Я знаю других женщин, чьи нравы вполне пристойны; однако и они ежесекундно уязвляют мужей богатым приданым, знатностью, связями, достоинствами, прелестями и тем, что принято называть добродетелью.

Как мало на свете таких безупречных женщин, которые хотя бы раз на дню не давали сво-

им мужьям повода пожалеть о том, что они женаты, и позавидовать холостякам.

80

Неужели нельзя изобрести средство, которое заставило бы женщин любить своих мужей?

81

Женщина, которую все считают холодной, просто еще не встретила человека, который пробудил бы в ней любовь.

Глава IV  
О СЕРДЦЕ

2

Хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет и тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это нечто совсем особое.

4

Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь.

5

Пока любовь жива, она черпает силы в самой себе, а подчас и в том, что, казалось бы, должно

ее убивать: в прихотях, в суровости, в холодности, в ревности. В противоположность любви, дружба требует ухода: ей нужны заботы, доверие и снисходительность, иначе она зачахнет.

6

В жизни чаще встречается беззаветная любовь, нежели истинная дружба.

7

Любовь и дружба исключают друг друга.

9

Любовь начинается с любви; даже самая пылкая дружба способна породить лишь самое слабое подобие любви.

10

Трудно отличить от настоящей дружбы те отношения, которые мы завязываем во имя любви.

11

По-настоящему мы любим лишь в первый раз; все последующие наши увлечения уже не так безоглядны.

12

Труднее всего исцелить ту любовь, которая вспыхнула с первого взгляда.

Любовь, которая возникает медленно и постепенно, так похожа на дружбу, что не может стать пылкой страстью.

Тот, кто любит так сильно, что хотел бы любить в тысячу раз сильнее, все же любит меньше, нежели тот, кто любит сильнее, чем сам того хотел бы.

На свете немало людей, которые и рады бы полюбить, да никак не могут; они ищут поражения, но всегда одерживают победу, и, если дозволено так выразиться, принуждены жить на свободе.

Люди, вначале страстно любившие друг друга, сами способствуют тому, что постепенно их любовь начинает слабеть, а потом совсем угасает. Кто больше виноват в охлаждении — мужчина или женщина? Ответить на этот вопрос нелегко: женщины утверждают, что мужчины непостоянны, а мужчины доказывают, что женщины ветрены.

Как ни требовательны люди в любви, все же они прощают больше провинностей тем, кого любят, нежели тем, с кем дружат.

## 22

Признательность за услугу уносит с собой немалую долю дружеского расположения к тому, кто сделал нам добро.

## 24

Ненависть не так далека от дружеской привязанности, как неприязнь.

## 25

Пожалуй, неприязнь скорее уж может перейти в любовь, чем в дружбу.

## 26

Друзьям мы охотно сами открываем наши тайны; от возлюбленных мы их не можем скрыть.

Подарить кому-нибудь свое доверие — еще не значит отдать ему сердце; тот, кто владеет сердцем другого человека, не нуждается ни в его излияниях, ни в доверии, ему и без них все открыто.

## 27

У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у любимых те, от которых страдаем мы сами.

## 28

Только из первого разочарования в любви и первой провинности друга можем мы извлечь полезный урок.

В дружбе для всякого охлаждения и всякой размолвки есть своя причина; любить же друг друга люди перестают только потому, что прежде слишком сильно любили.

Мы так же не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить.

Умирает любовь от усталости, а хоронит ее забвение.

И при зарождении и на закате любви люди всегда испытывают замешательство, оставаясь наедине друг с другом.

Угасание любви — вот неопровержимое доказательство того, что человек ограничен и у сердца есть пределы.

Полюбить — значит проявить слабость; разлюбить — значит иной раз проявить не меньшую слабость.

Люди перестают любить по той же причине, по какой они перестают плакать: в их сердцах иссякает источник и слез и любви.

Люди по привычке встречаются и произносят слова любви даже тогда, когда каждое их движение говорит о том, что они уже не любят друг друга.

Мы хотим быть источником всех радостей или, если это невозможно, всех несчастий того, кого любим.

Тосковать о том, кого любишь, много легче, нежели жить с тем, кого ненавидишь.

Если человек помог тому, кого любил, то ни при каких обстоятельствах он не должен вспоминать потом о своем благодеянии.

Приятно встретить взгляд человека, которому только что помог.

Не знаю, можно ли помощь, оказанную неблагодарному, а значит, недостойному, назвать благодеянием, и заслуживает ли она особой признательности?



Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно.

Лучше стать жертвой неблагодарности, чем отказать в помощи несчастному.

Опыт говорит нам, что попустительство и снисходительность к себе и беспощадность к другим — две стороны одного и того же греха.

Как ни тягостно нести бремя забот о человеке обездоленном, все же мы не испытываем особой радости, когда благоприятная перемена в судьбе вырывает его из-под нашей опеки; точно так же наше удовольствие при вести об успехе друга несколько омрачается легкой досадой на то, что теперь он возвысится над нами или станет нам ровней. Таким образом, мы живем в постоянном разладе с собою: нам нужны люди, зависящие от нас, но мы не хотим, чтобы они нас утруждали; мы желаем удачи нашим друзьям, но, когда она приходит к ним, первым нашим чувством далеко не всегда бывает восторг.

Мы зовем друга в гости, просим прийти к нам, предлагаем свои услуги, обещаем разделить с

ним стол, кров, имущество; дело стоит за малым — за исполнением обещанного.

58

Нам следует искать расположения тех, кому мы хотим помочь, а не тех, от кого ждем помощи.

62

Наши заветные желания обычно не сбываются, а если и сбываются, то в такое время и при таких обстоятельствах, когда это уже не доставляет нам особого удовольствия.

63

Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не засмеявшись.

64

Жизнь коротка, если считать, что названия жизни она заслуживает лишь тогда, когда дарит нам радость; собрав воедино все приятно проведенные часы, мы сведем долгие годы всего к нескольким месяцам.

68

Мы преисполнены нежности к тем, кому делаем добро, и страстно ненавидим тех, кому нанесли много обид.

Так же трудно заглушить обиду вначале, как помнить о ней по прошествии нескольких лет.

Мы ненавидим наших врагов и жаждем отомстить им по слабодушию, а успокаиваемся и забываем о мести из лени.

Все страсти лживы: они стараются надеть маску, они прячутся даже от самих себя. Нет такого порока, который не рядился бы под какую-нибудь добродетель или не прибегал бы к ее помощи.

Люди не так стыдятся своих преступлений, как слабости и суетности; они порою не краснея совершают насилия и несправедливости, предаются и клеветают и в то же время скрывают любовь и честолюбивые мечты, и притом без всякой выгоды для себя.

Никто не может сказать о себе: «Я был честолюбив». Человек или всегда исполнен честолюбия, или вовсе ему чужд. Но для всех нас приходит такое время, когда мы сознаемся, что любовь была и ушла.

Страсть без труда берет верх над рассудком, но она одерживает великую победу, когда ей удается одолеть своекорыстие.

## Глава V

### О СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ОБ ИСКУССТВЕ ВЕСТИ БЕСЕДУ

#### 1

Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарактерного человека.

#### 2

Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он — лишний.

#### 3

У нас шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на глупого остро слова: куда ни глянь, везде ползают эти насекомые. Истинно остроумный человек — диковина, и к тому же ему нелегко поддерживать свою репутацию: люди редко уважают того, кто умеет их смешить.

#### 4

Мы богаты пошляками, еще богаче сплетниками и насмешниками, но вот людей действи-

тельно остроумных у нас мало; изящно шутить и занимательно рассказывать о пустяках умеет лишь тот, кто сочетает в себе изысканность и непринужденность с богатым воображением: сыпать веселыми остротами — это значит создавать нечто из ничего, то есть творить.

## 16

Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой и своим остроумием, значит, он вполне доволен и вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться, не столько жаждут узнать что-либо новое или даже посмеяться, сколько желают произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг; поэтому самое утонченное удовольствие для истинно хорошего собеседника заключается в том, чтобы доставлять его другим.

## 18

Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать, или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать: не было бы на свете таких людей, не было бы и докучных невеж.

## 19

Скромно сказать о какой-либо вещи, что она хороша или дурна, и привести доводы в пользу своего взгляда — совсем не легко: для этого нужны и здравый разум, и умение выражать мысль. Куда легче объявить тоном решительным и не терпящим возражений, что она отвратительна или великолепна.

Как много на свете суетливых, вечно куда-то спешащих людей, торопыг, хотя никаких занятий у них нет и делами они не обременены! Не успев обменяться с вами приветствиями, они уже жаждут отделаться от вас и чуть ли не гонят прочь: вы еще не закончили фразы, а их уже и след простыл. Эти люди — такие же невежи, как и те, что останавливают вас и потом ни за что не отпускают от себя; впрочем, последние, быть может, еще хуже первых.

Учтивые манеры не всегда говорят о справедливости, доброте, снисходительности и благодарности, но они хотя бы создают видимость этих свойств, и человек по внешности кажется таким, каким ему следует быть по сути.

Можно определить, что такое учтивость, но нельзя рассказать, как она должна проявляться: это зависит от обычаев, от времени, страны, людей, даже от пола и положения в обществе. Понять ее суть еще не значит уметь выказать ее на деле: мы должны перенимать ее у окружающих и всегда в ней совершенствоваться. Одни ценят в собеседнике только учтивость, другие — большие дарования и неколебимую добродетель; однако в любом случае учтивые манеры оттеняют достоинства и придают им приятность: только из ряда вон выходящие качества могут спасти неучтливую человека в мнении света.

Мне кажется, суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собою.

Пренебрежительно отвергая любую похвалу, мы проявляем своего рода грубость: нам следует благодарить за нее, если она исходит от достойного человека, который чистосердечно хвалит то, что заслуживает похвалы.

Не слишком хороший характер у того, кто нетерпим к дурному характеру ближнего: будем помнить, что в обращении требуются и золото, и разменная монета.

Жизнь большинства семей нередко омрачают недоверие, ревность, недоброжелательство, между тем как снаружи все выглядит так благообразно, мирно и дружелюбно, что мы вдаемся в обман и видим счастье там, где его нет и в помине; мало на свете таких семей, которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Вы пришли с визитом — и ваше появление прервало ссору; но стоит вам откланяться, как она сразу же возобновится.

В светском обществе разум обычно первым сдает свои позиции: люди глубокого ума нередко оказываются в подчинении у глупца и самодура; они начинают изучать все его слабости, прихоти, капризы, они потакают ему, идут на любые уступки, ни в чем не перечат. Если он благодушно настроен — его превозносят до не-

бес и как бы благодарят за то, что он не всегда невыносим. Его боятся, балуют, слушаются, порою даже любят.

42

Только тот, кто ждал или ждет наследства от престарелых родственников, знает, как дорого приходится за него платить.

43

Клеант — благороднейший человек, и женился он на превосходной, очень разумной женщине; каждый из них — украшение и гордость любого общества. На свете редко встречаются столь порядочные и учтивые люди, но... завтра они расстанутся: у нотариуса уже готов акт о раздельном жительстве. Очевидно, иные достоинства несочетаемы, иные добродетели несовместимы.

44

Муж может с уверенностью рассчитывать на приданое, жена — на вдовью часть, оба они — на соблюдение условий брачного контракта, но пусть они не надеются на содержание, положенное родителями и зависящее от столь непрочной вещи, как согласие между свекровью и невесткой, которое нередко нарушается в первый же год брака.

45

Тесть не любит зятя, свекор любит невестку; теща любит зятя, свекровь не любит невестку; все в мире уравнивается.



Мачеха всеми силами души ненавидит детей своего мужа от первого брака; чем сильнее любит она их отца, тем больше она мачеха.

Мачехи опустошают города и села и плодят нищих, бродяг, лакеев и рабов не меньше, чем сама бедность.

Подчас легче и полезнее приладиться к чужому нраву, чем приладить чужой нрав к своему.

Я стою на вершине холма и смотрю вниз, на небольшой городок: он расположен на склоне, густой лес защищает его от холодных северных ветров, стены омывает река, которая потом струит свои воды по чудесной долине. Городок так ярко освещен солнцем, что я могу сосчитать все его башни и колокольни: кажется, будто он нарисован на косогоре. Охваченный восторгом, я восклицаю: «Какое счастье жить в этом пленительном уголке, под этими ясными небесами!» Я спускаюсь, вхожу в городок и через двое суток уже уподобляюсь его жителям: только и мечтаю, как бы из него удрать.

Провинциалы и недалекие люди то и дело готовы обидеться, полагая, что их презирают, что над ними смеются; как бы мягка и безобидна ни была шутка, ее можно позволить себе только с людьми воспитанными или наделенными умом.

Не пытайтесь верховодить ни вельможами — они защищены от вас высоким положением, — ни маленькими людьми — они всегда настороже.

У каждого из нас есть мелкие недостатки, которые мы охотно позволяем порицать и даже высмеивать; именно такие недостатки должны мы избирать и у других в качестве мишени для шуток.

Смеяться над умными людьми — такова привилегия глупцов, которые в обществе играют ту же роль, что шуты при дворе, то есть никакой.

Склонность к осмеиванию говорит порой о скудости ума.

Вы полагаете, что оставили этого человека в дураках, а он ничего и не заметил; ну а если он только притворился, что не заметил, кто больше в дураках — он или вы?

Поразмыслив хорошенько, нетрудно убедиться, что вечно брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, которые всеми нелюбимы.

Друзья потому находят удовольствие в общении друг с другом, что одинаково смотрят на нравственные обязанности человека, но различно мыслят о вопросах научных: беседы помогают им укрепиться во взглядах, доказать свои убеждения или узнать что-либо новое.

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки.

Советы весьма полезны в делах, но в светском обществе они порой лишь вредят советчику и не нужны тому, к кому обращены: вы указываете человеку на его недостатки, а он или не намерен в них сознаться, или почитает их достоинствами; вы критикуете такие-то места в произведении, а между тем автор считает их превосходными, лучшими из всего, что он создал, и критика лишь укрепляет его в этом мнении. Ваши друзья не станут ни лучше, ни умнее от ваших советов — они только перестанут вам доверять.

Не так давно в нашем светском обществе существовал кружок, состоявший из мужчин и женщин, которые собирались, чтобы обмениваться мыслями и беседовать. Искусство изъясняться вразумительным языком они предоста-

вили черни: стоило одному из членов кружка сказать что-нибудь неясное, как другой отвечал ему еще более туманно, и чем загадочней становился их разговор, тем громче рукоплескали остальные. Употребляя выражения, которые, на их взгляд, отличались изяществом, изысканностью, чувствительностью и утонченностью, они вовсе разучились понимать не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось ни здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни проницательности, ничего, кроме остроумия, да и то натянутого, вымученного,— остроумия, в котором слишком большую роль играло воображение.

## 72

Не знаю, что лучше — дурно шутить или повторять хорошие, но давным-давно известные остроты, делая вид, что вы только что их придумали.

## 76

Догматический тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь человек непросвещенный уверен в своем праве поучать других вещам, о которых сам только что узнал; тот же, кто знает много, ни на секунду не усомнится, что к его словам отнесутся внимательно, поэтому говорит с подобающей скромностью.

## 78

Пожалуй, в устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, чем в письменную.

Неполная откровенность всегда опасна: почти нет таких обстоятельств, при которых не следовало бы либо все сказать, либо все утаить. Если мы считаем, что человеку нельзя открыть все, мы, рассказывая что-то, уже говорим слишком много.

## Глава VI О ЖИТЕЙСКИХ БЛАГАХ

### 1

Богач волен есть лакомые блюда, украшать росписью потолки и стены у себя в доме, владеть замком в деревне и дворцом в городе, держать роскошный выезд, породниться с герцогом и сделать своего сына вельможей. Да, все это ему доступно; но довольство жизнью выпадает, пожалуй, на долю других.

### 3

Притязания честолюбивого глупца нередко оправданы тем, что едва он составил себе состояние, как люди начали находить в нем достоинства, которых у него никогда не было, и притом столь выдающиеся, что на бóльшие он и сам не претендовал.

### 4

Стоит человеку утратить богатство и расположение двора, как сразу обнаруживаются те смешные стороны его характера, которые до тех пор были скрыты и неприметны для глаз.

Если финансист разоряется, придворные говорят: «Это выскочка, ничтожество, хам». Если он преуспевает, они просят руки его дочери.

## 10

Не старайтесь выставить богатого глупца на посмеяние — все насмешники на его стороне.

## 13

Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, — они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого — сделка принесла бы нам лишь убыток.

## 15

Сосий начал с ливреи, выбился в сборщики налогов, потом в субарендаторы при откупщице, а затем, лихоимствуя, подделывая бумаги, злоупотребляя доверием и разоряя целые семьи, возвысился до заметного положения. Он купил должность и таким путем стал человеком благородным. Ему оставалось только сделаться добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо.

## 18

Шампань, встав из-за стола после долгого обеда, раздувшего ему живот, и ощущая приятное опьянение от авнейского или силлерийского

вина, подписывает поданную ему бумагу, которая, если никто тому не воспрепятствует, оставит без хлеба целую провинцию. Его легко извинить: способен ли понять тот, кто занят пищеварением, что люди могут где-то умирать с голоду?

## 24

То, как распределены богатство, деньги, высокое положение и другие блага, которые предоставил нам господь, и то, какому сорту людей они чаще всего достаются, ясно показывает, насколько ничтожными считает творец все эти преимущества.

## 25

Если вы зайдете на кухню и познакомитесь там со всеми секретами и способами так угождать вашему вкусу, чтобы вы ели больше, чем необходимо; если вы во всех подробностях узнаете, как разделывают мясо, которое подадут вам на званом пиру; если вы посмотрите, через какие руки оно проходит и какой вид принимает, прежде чем превратится в изысканные кушанья и обретет то опрятное изящество, которое пленяет ваши взоры, заставляет вас колебаться при выборе блюд и побуждает отведать от всех сразу; если вы увидите все эти яства не на роскошно накрытом столе, а в другом месте,— вы сочтете их отбросами и почувствуете отвращение. Если вы проникнете за кулисы театра и пересчитаете блоки, маховики и канаты тех машин, с помощью которых производятся полеты; если вы поймете, сколько людей участ-

вует в смене декораций, какая сила рук, какое напряжение мышц необходимы для этого, вы удивитесь и воскликнете: «Неужели все это и сообщает движение зрелищу, столь же прекрасному и естественному, сколь непринужденному и полному воодушевления?»

По той же причине не пытайтесь вывести, как разбогател откупщик.

## 26

Этот свежий, цветущий, пышущий здоровьем юноша — сеньор целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций, от которых получает сто двадцать тысяч ливров дохода. Он купается в золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться зимою, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть. Их нищета ужасна и постыдна. Какая несправедливость! Но не предвещает ли она, что ожидает как их, так и его в будущей жизни?

## 28

Дайте Эргасту волю, и он обложит налогом воду, которую пьют, и землю, по которой ходят: он умеет превращать в золото все — даже тростник, камыш и крапиву. Он принимает любые советы и пытается провести в жизнь все, что ему советуют. Государь, уверяет он, жалует других только за счет Эргаста, оказывает им лишь те милости, которые заслужены Эргастом. Он полон ненасытной жажды приобретать и владеть; он готов торговать искусством и наукой, взять на откуп даже гармонию. Послушать его, так выходит, что народ с радостью предпочел



бы музыке Орфея мелодии Эргаста, лишь бы этот добрый человек был богат, держал свору гончих и завел конюшню!

32

Жизнь от... щи.ов распадается на две равные половины: первая, деятельная и непоседливая, целиком занята тем, что они грабят народ; вторая, предшествующая смерти, — тем, что они обличают и разоряют друг друга.

33

Человек, который многим ближним — в том числе и вам — помог составить состояние, не сумел сохранить своего и обеспечить перед смертью жену и детей; теперь они живут в неизвестности и нищете. Вам отлично известно их бедственное положение, но вы и не думаете его облегчить. В самом деле, до того ли вам? Вы держите открытый стол, вы строитесь. Зато вы с признательностью храните портрет вашего благодетеля... правда, уже не в кабинете, а в передней. Какая преданность! Его вполне можно было бы вынести в чулан.

34

Человек иногда рождается черствым, а иногда становится им под влиянием своего положения в жизни. В обоих случаях он равнодушен к бедствиям ближнего, больше того — к несчастьям собственной семьи. Настоящий финансист не способен горевать о смерти друга, жены, детей.

Иной человек, заключая всё новые сделки и пряча всё больше денег в сундуки, приходит в конце концов к мысли, что он умен и даже способен отправлять высокие должности.

Бывают недоумки и, дерзну сказать, даже круглые дураки, которым удастся занять важную должность и жить до конца дней своих, утопая в изобилии, хотя никому и в голову не приходит утверждать, что они добились этого трудом или предприимчивостью. Кто-нибудь — чаще всего просто случай — подвел их к источнику и сказал: «Хотите воды? Зачерпните». И они зачерпнули.

Каждое утро мы раскрываем глаза, как купец — ставни своей лавки, и выставляем себя напоказ, чтобы обманывать ближнего; а вечером снова закрываем их, потратив целый день на обман.

Бедный человек любого звания почти всегда порядочен, богатый — склонен к мошенничеству: чтобы разбогатеть, мало быть ловким и предприимчивым.

В любом деле — как в ремесле, так и в торговле — можно разбогатеть, притворяясь честным человеком.

Кратчайший и вернейший способ составить себе состояние — это дать людям понять, что им выгодно делать вам добро.

Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В это же время другие лакомятся свежими фруктами: чтобы угодить их избалованному вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане, только потому, что они богаты, позволяют себе проедать за один присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. Пусть кто хочет возвышает голос против таких крайностей, я же по мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе прибежище в золотой середине.

Все страсти тиранят человека, но честолюбие, взяв верх над остальными, на время даже наделяет его видимостью всех добродетелей. Трифон страдает всеми пороками, а я считал его воздержанным, целомудренным, щедрым, смиренным и даже благочестивым; я и поныне верил бы в это, не наживи он состояния.

Желание разбогатеть и возвеличиться никогда не оставляет человека: желчь уже разливается, подходит конец, на лице у бедняги печать

смерти, ноги не держат его, а он все еще твердит: «Мое богатство, мое положение...»

52

Человек может возвыситься лишь двумя путями — с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости.

57

Высокомерие — вот единственная причина того, что мы так дерзко заносимся перед низшими и так постыдно пресмыкаемся перед высшими. Этот порок, порожденный не личными заслугами и добродетелями, а богатством, высоким положением, влиятельностью и ложной ученостью, равно внушает нам и презрение к тем, у кого меньше этих благ, чем у нас, и чрезмерное почтение к тем, у кого их больше.

64

В молодости человек копит себе на старость, а состарившись, откладывает на похороны. Рассточительный наследник оплачивает пышное погребение и проматывает остальное.

66

То, что человек проматывает, он отнимает у своего наследника, а то, что скаречно копит, — у самого себя. Кто хочет быть справедливым к себе и другим, тот держится середины.

Не будь дети в то же время и наследниками, они, вероятно, больше дорожили бы родителями, а родители — ими.

Есть только одно непреходящее несчастье — потеря того, чем владел. Время, смягчающее все остальные горести, лишь обостряет эту: мы до самой смерти ежеминутно чувствуем, как недостает нам того, что мы утратили.

## Глава VIII

### О ДВОРЕ

#### 4

Покинуть двор хотя бы на короткое время — значит навсегда отказаться от него. Придворный, побывавший при дворе утром, снова возвращается туда вечером из боязни, что к утру там все переменится и о нем забудут.

#### 5

При дворе даже самый тщеславный человек начинает чувствовать себя ничтожным — и не ошибается в этом: так малы там все, даже великие.

#### 6

Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей провинции, он представляет

собою изумительное зрелище. Стоит познакомиться с ним — и он теряет свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко.

7

Трудно привыкнуть к жизни, которая целиком проходит в приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах.

8

Находясь при дворе, человек никогда не чувствует себя довольным; очутившись вдали от него, он недоволен еще больше.

10

Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных.

12

Будь мы скромны и воздержаны, золотошвей и кондитер остались бы не у дел — их товар никого бы не соблазнил; излечись мы от тщеславия и своекорыстия, дворы опустели бы и короли остались бы почти в одиночестве. Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом. Порою кажется, что самые влиятельные из вельмож оптом получают власть, величие и высокомерие, а затем раздают их провинциям в розницу. Истинные обезьяны, они ведут себя с низшими так же, как монархи — с ними самими.

Ничто так не обезображивает иных царедворцев, как присутствие монарха: они становятся неузнаваемы, черты их искажаются, осанка утрачивает благородство. Гордецы и спесивцы выглядят особенно приниженно, ибо они меняются разительнее других, человек порядочный и скромный держит себя достойнее: он остается самим собой.

Есть ли при дворе что-нибудь более презренное и недостойное, нежели человек, не способный помочь нашему возвышению? Не понимаю, как это он дерзает там показываться!

Придворный употребляет весь свой ум, ловкость и хитрость не на то, чтобы найти способ услужить друзьям, умоляющим его о помощи, а на то, чтобы найти убедительные поводы и благовидные предлоги отказать в просьбе и сослаться на полную невозможность что-нибудь сделать; после этого он убеждает себя, что сполна заплатил долг дружбы или признательности.

При дворе никто не хочет сделать первый шаг, все предлагают лишь поддержать его, ибо судят о других по себе и надеются, что ни у кого не хватит смелости начать и его поэтому не придется поддерживать. Какой учтивый и деликатный способ отказать помочь своим влиянием, услугами и заступничеством тому, кто в этом нуждается!

Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь.

При дворе известны два способа отделаться от человека или, как говорится, дать ему от ворот поворот: либо самому рассердиться на него, либо сделать так, чтобы он рассердился на вас и проникся к вам отвращением.

При дворе хорошо отзываются о человеке по двум причинам: во-первых, дабы он узнал, что мы хорошо о нем отзываемся; во-вторых, дабы он так же хорошо отзывался о нас.

Давать обещания при дворе столь же опасно, сколь трудно их не давать.

Вы человек порядочный; вам все равно, пришли вы по нраву фаворитам или нет; вы преданы только своему господину и думаете лишь о своем долге. Значит, вы человек конченный.

Наглость — это не умышленный образ действий, а свойство характера; порок, но порок



врожденный. Кто не родился наглецом, тот скромен и нелегко впадает в другую крайность. Бесполезно поучать его: «Будьте наглы, и вы преуспеете», — неуклюжее подражание не пойдет такому человеку впрок и неминуемо обречет его на неудачу. Лишь бесстыдство непринужденное и естественное помогает пробить дорогу при дворе.

## 42

Человек домогается, хлопочет, интригует, тревожится, просит, встречает отказ, просит снова и наконец достигает цели; а послушать его, так он получил желаемое без всяких просьб и тогда, когда вовсе не думал просить, а занимался совсем иными делами. Избитый прием, невинная и бесполезная ложь — она никого не обманет!

## 44

Что постыднее — не получить место, которое заслужил, или занять его, не заслужив?

Возвыситься при дворе трудно, но еще труднее стать достойным возвышения.

Легче сделать так, чтобы о вас говорили: «Почему он получил это место?» — чем добиться того, чтобы кто-нибудь спросил: «Почему он не получил этого места?»

## 45

Только люди дурно воспитанные не умеют давать с любезным видом: самое важное и самое трудное — в том, чтобы дать; так почему бы не сопроводить даяние улыбкой?

К высокому положению ведут два пути: протоптанная прямая дорога и окольная тропа в обход, которая гораздо короче.

Человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом в своих манерах и поведении, сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном. Отсюда забывчивость, гордость, высокомерие, черствость и неблагодарность.

Молодость государя — источник многих крупных состояний.

Придворная жизнь — это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь расставить фигуры, рассчитать силы, обдумать ходы, осуществить свой замысел, расстроить планы противника, порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата. Часто пешки, которыми умно распоряжаются, проходят в ферзи и решают исход партии; выигрывает ее самый ловкий или самый удачливый.

Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен покровительства сильных мира сего;

живя при дворе, он обретает покровительство, но теряет свободу. Одно стоит другого.

70

Раб зависит только от своего господина, честолюбец — от всех, кто способен помочь его возвышению.

80

«Хороший острослов — дурной человек». Я и сам сказал бы то же, если бы это не было сказано до меня. Но я беру на себя смелость сказать другое, еще никем не сказанное: кто ради красного словца не щадит доброго имени и счастья ближнего, тот заслуживает самой позорной кары.

85

Кто умеет внушить, что он не очень хитер, тот уже далеко не прост.

От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко второму очень легкий: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство.

86

Правое и важное для вас дело зависит от согласия двух человек. Один говорит: «Я похлопочу, если не возражает такой-то». Такой-то не возражает, но при одном условии — он хочет быть уверен в согласии первого. Проходят месяцы, годы, а дело не подвигается. «Я теряюсь,

я ничего не понимаю,— говорите вы.— Ведь им нужно только встретиться и поговорить». А мне, признаться, все ясно и понятно: они уже поговорили.

87

Я полагаю, что тот, кто хлопочет за других, всегда исполнен уверенности в себе, как человек, который добивается справедливости; выпрашивая или домогаясь чего-нибудь для себя, он смущается и стыдится, как человек, который кланчит милости.

89

В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность.

91

Человек, некоторое время занимавшийся интригами, уже не может без них обойтись: все остальное ему кажется скучным.

94

Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит меня в приемной меньше, чем обычно; если лицо его будет приветливей, а брови не так насуплены; если он любезно выслушает меня и проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит падение,— и не ошибусь.

Через сто лет мир в существе своем останется прежним: сохранится сцена, сохраняются декорации, сменяются только актеры. Те, кто сегодня радуется полученной милости или огорчается и отчаивается из-за отказа в ней, все до одного сойдут со сцены. На подмостки уже выходят другие люди, призванные сыграть те же роли в той же пьесе; в свой черед исчезнут и они, а за ними — те, кого еще нет и чье место опять-таки займут новые комедианты. Стоит ли возлагать наши надежды на лицедеев?

## 100

Кто видел двор, тот видел все, что есть в мире самого прекрасного, изысканного и пышного; кто, повидав двор, презирает его, тот презирает и мир.

## 101

Столица отбивает охоту жить в провинции, двор открывает нам глаза на столицу и вылечивает от стремления ко двору.

Человеку, наделенному здоровым умом, двор прививает вкус к одиночеству и замкнутой жизни.

## Глава IX

### О ВЕЛЬМОЖАХ

## 1

Народ так слепо предрасположен к вельможам, так повсеместно восхищается их жестами,

выражением лица, тоном и манерами, что боготворил бы этих людей, будь они с ним хоть немного добрее.

### 3

Вельможи обладают одним огромным преимуществом перед остальными людьми. Я завидую не тому, что у них есть все: обильный стол, богатая утварь, собаки, лошади, обезьяны, шуты, льстецы, но тому, что они имеют счастье держать у себя на службе людей, которые равны им умом и сердцем, а иногда и превосходят их.

### 4

Вельможи чванятся тем, что прорезают леса аллеями, окружают свои владения непомерно длинными стенами, раззолачивают потолки, сооружают фонтаны и устраивают оранжереи; однако их страсть к диковинному не настолько велика, чтобы вселить довольство в чье-то сердце, преисполнить радостью чью-то душу, предотвратить или облегчить чью-то горькую нищету.

### 6

Вельможам так легко отделываться одними обещаниями, их сан так бесспорно избавляет их от необходимости держать слово, что они, как видно, очень скромны, если сулят только то, что сулят, а не в три раза больше.

«Этот человек стар и ни к чему не пригоден,— говорит вельможа.— Он загнал себя, бегая за мною. На что он мне?» И вот кто-нибудь помоложе лишает несчастного последних надежд и получает должность, в которой бедняге отказали только потому, что он слишком честно ее заслужил.

Подчас бывает выгодней оставить службу у вельможи, чем жаловаться на него.

Сильные мира сего так взысканы счастьем, что ни разу за всю жизнь им не случается печалиться из-за утраты лучших слуг или людей, которые прославили себя в своей области, а им принесли много радости и пользы. Стоит этим единственным в своем роде и незаменимым людям умереть, как льстецы принимаются выискивать их слабые стороны, которых, уверяют они, отнюдь не будет у тех, кто займет место покойных. Они твердят, что преемник, обладая всеми талантами и познаниями предшественника, свободен от его недостатков, и такими речами утешают государей в потере великого и замечательного человека, которого сменила посредственность.

Холодность или неучтивость со стороны тех, кто выше нас, внушают нам ненависть к ним,

но один их поклон или улыбка уже примиряют нас с ними.

## 24

Вельможи не желают ничему учиться — не только тому, чем они могли бы послужить монарху и государству, но даже тому, что нужно для надзора за собственными делами, домом и семьей. Они похваляются своим невежеством, позволяют управляющим обирать их и вертеть ими, а сами довольствуются тем, что считают себя знатоками вин и ценителями тонкого стола, навещают Фрин и Таис, ведут разговоры о гончих и борзых и в точности знают, сколько почтовых перегонов от Парижа до Безансона или Филиппсбурга. Между тем простые граждане знакомятся с внешними и внутренними делами королевства, постигают науку правления, становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые стороны своего государства, помышляют о месте, получают его, возвышаются, достигают могущества и облегчают государю заботы о благе отечества, а вельможи, которые прежде презирали их, склоняются перед ними, почитая за счастье стать их зятьями.

## 25

Сравнивая меж собой людей двух наиболее далеких друг от друга званий, то есть вельмож и простолюдинов, я вижу, что последние довольны жизнью, хотя обладают лишь самым необходимым, а первые — бедны и беспокойны, хотя утопают в излишествах. Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому



не желает добра и многим способен причинить большой вред; один живет, занимаясь лишь полезными делами, другой убивает время на дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен, второй под личиной учтивости таит развращенность и злобу. У народа мало ума, у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у вторых — все показное, и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: «Народом».

## 27

Монархи обладают всеми жизненными благами, они наслаждаются изобилием, спокойствием и благоденствием: поэтому им доставляет удовольствие посмеяться над карликом, обезьяной, глупцом или нелепой историей; людям, не столь счастливым, нужен более существенный повод для смеха.

## 38

Участвовать в сомнительной затее опасно, еще опасней оказаться при этом сообщником вельможи: он-то выпутается, а вам придется нести двойную ответственность — и за себя и за него.

## 56

О сильных мира сего лучше молчать: говорить о них хорошо — почти всегда значит льстить им; говорить о них дурно — опасно, пока они живы, и подло, когда они мертвы.

## Глава X

### О МОНАРХЕ ИЛИ О ГОСУДАРСТВЕ

#### 1

Когда человек, не предубежденный в пользу своей страны, сравнивает различные образы правления, он видит, что невозможно решить, какой из них лучше: в каждом есть свои дурные и свои хорошие стороны. Самое разумное и верное — счесть наилучшим тот, при котором ты родился, и примириться с ним.

#### 2

Чтобы управлять людьми, тиран не нуждается ни в искусстве, ни в мудрости: политика, которая сводится к пролитию крови, всегда недальновидна и лишена гибкости. Она учит убивать тех, кто служит помехой нашему честолюбию; поэтому человек, жестокий от природы, следует ей без труда. Это самый гнусный и самый грубый способ удержаться у власти или прийти к ней.

#### 3

Усыплять народ празднествами, зрелищами, роскошью, пышностью, наслаждениями, делать его тщеславным, изнеженным, никчемным, ублажать его пустяками — вот безошибочная политика, к которой с давних пор прибегают во многих государствах. Чего только не добивался деспотизм ценою такой снисходительности!

У подданных деспота нет родины. Мысль о ней вытеснена корыстью, честолюбием, раболепством.

При нововведениях и переменах в государстве правители обычно думают не столько о необходимости реформ, сколько об их своевременности: бывают обстоятельства, подсказывающие, что нельзя слишком раздражать народ; бывают другие, из коих ясно, что с ним можно не считаться. Сегодня вы властны лишить какой-нибудь город всех его вольностей, прав, привилегий; завтра не дерзайте изменить хотя бы цвет его знамен.

Когда народ охвачен волнением, никто не может сказать, как восстановить спокойствие; когда он умиротворен, никто не знает, что может нарушить его спокойствие.

У войны за плечами тысячелетия: она существовала во все века, она всегда наполняла мир вдовами и сиротами, лишала семьи наследников и уничтожала нескольких братьев сразу в одном и том же сражении. О юный Сокур, я печалюсь о твоей доблести, о твоей чистоте, о твоем уже зрелом, пронизательном и возвышенном уме! Я оплакиваю твою безвременную смерть,

которая соединила тебя с твоим неустрашимым братом и отняла у двора, где ты едва успел сделать свои первые шаги. Какое прискорбное и вместе с тем обыденное несчастье! С незапамятных времен люди словно сговорились разорять, жечь, убивать, резать друг друга ради лишней пяди земли; чтобы делать это более изобретательно и безошибочно, они придумали превосходные правила, которые наименовали военным искусством, поставили в зависимость от соблюдения этих правил долговечность нашего имени и славы и с тех пор из столетия в столетие изощрялись друг перед другом во взаимном истреблении. Несправедливость, присущая первым людям, — вот где истоки войны и необходимости ставить над собой начальников, которые определяли бы права каждого и решали бы все споры; если бы человек умел довольствоваться тем, что имеет, а не зариться на достояние соседа, он всегда наслаждался бы миром и свободой.

## 17

Ничто не делает такой чести государю, как скромность фаворита.

## 18

Фаворит всегда одинок: у него нет ни привязанностей, ни друзей. Он окружен родственниками и льстецами, но не дорожит ими. Он оторван от всех и как бы всем чужд.

## 22

Народу выпадает великое счастье, когда монарх облакает своим доверием и назначает ми-

нистрами тех, кого назначили бы сами подданные, будь это в их власти.

25

Все процветает в стране, где никто не делает различия между интересами государства и государя.

28

Порой на закате погожего дня вы видите, как большое стадо, рассыпавшись по холму, мирно щиплет тимьян и чабрец или пасется на лугу, поросшем мягкой и сочной травой, до которой не добралась коса крестьянина. Рядом с овцами стоит усердный и заботливый пастух: он не сводит с них глаз, идет вслед за ними, перегоняет их на новое пастбище. Если они разбрелись, он их собирает; если появился жадный волк, он спускает пса, и тот прогоняет хищника. Он кормит их и стережет. Не успевает заняться заря, как он уже в поле; он уходит домой не раньше, чем зайдет солнце. Как он прилежен и бдителен, как тяжела его служба! Кому, по-вашему, живется приятней и привольней — пастуху или овцам? Стадо ли создано для пастуха или пастух для стада? Вот бесхитростное олицетворение народа и государя, если только последний — подлинный государь.

Монарх, окруженный роскошью и пышностью, — это пастух в одежде, усыпанной золотом и камнями, с золотым посохом в руке, с овчаркой в золотом ошейнике, на парчовой или шелковой сворке. Какая польза стаду от этого золота? Разве оно защитит его от волков?

## Глава XI

### О ЧЕЛОВЕКЕ

5

Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность — жалости или презрения, и неизвестно, что опаснее — принять ошибочное решение или не принимать никакого.

13

Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец.

33

Несчастье трудно переносить, счастье — страшно утратить. Одно стоит другого.

34

Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут.

38

Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настигнет нас; в этой неопределенности есть нечто от бесконечности и того, что мы называем вечностью.

39

Вздыхая о цветущей юности, ушедшей и невозвратимой, мы должны помнить, что скоро на-

ступит дряхлость и тогда придется сожалеть о зрелом возрасте, из которого мы еще не вышли и который недостаточно ценим.

41

Мы надеемся достигнуть старости, но боимся состариться. Это значит, что мы любим жизнь и страшимся смерти.

43

Если бы одни из нас умирали, а другие нет, умирать было бы крайне досадно.

45

С точки зрения милосердия смерть хороша тем, что кладет конец старости.

Смерть, упреждающая одряхление, более своевременна, чем смерть, завершающая его.

46

Сожаление о неразумно растроченном времени, которому предаются люди, не всегда помогает им разумно употребить его остаток.

48

В жизни человека всего три события: рождение, жизнь, смерть. Он не чувствует, как родится, страдает, умирая, и забывает жить.

51

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим.

Нет такого внешнего изъяна, такого телесного несовершенства, которого не подметили бы дети: они умеют обнаружить его с первого взгляда и назвать таким словом, что лучше и не скажешь; когда же они становятся взрослыми, у них появляются те самые недостатки, над которыми они когда-то потешались.

У детей одна забота — выискивать слабое место у своих наставников, а равно и у всех, кому они должны подчиняться; стоит детям его обнаружить, как они берут верх над взрослыми и перестают с ними считаться. Лишившись по какой-то причине своего превосходства над детьми, мы по той же причине уже не можем обрести его вновь.

Дети в общении между собою начинают с народоправства, когда все они сами себе господа, но, что вполне естественно, недолго придерживаются его и вскоре переходят к единовластию. Кто-нибудь из них выделяется, то ли благодаря живости ума, то ли по причине телесного превосходства, то ли из-за большей осведомленности в различных играх и правилах, на которых эти игры основаны; другие подчиняются ему; так рождается самодержавная форма правления, где все зиждется на прихоти одного.

Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или хотя бы строго наказы-



вать их за мелкие провинности — значит лишиться всякого их доверия и уважения. Они точнее и лучше, чем взрослые, знают, что заслужили, и почти всегда заслуживают того, чего боятся. Им известно, виновны ли они в том, за что их карают, и несоразмерное наказание портит их не меньше, чем безнаказанность.

82

Перед лицом иных несчастий как-то стыдно быть счастливым.

90

О глупце все говорят, что он глуп, но никто не дерзает отвести душу и сказать ему это в лицо; он так и умирает в неведении.

91

Какой разлад между умом и сердцем! Философ живет не так, как сам учит жить; дальновидный и рассудительный политик легко теряет власть над собой.

95

Человек рослый и сильный, с широкими плечами и грудью, легко и непринужденно несет огромный груз, причем у него еще свободна одна рука; карлика раздавила бы вдвое меньшая тяжесть. То же и с высокими должностями: они делают людей великих еще более великими, ничтожных — еще более ничтожными.

Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночества. Отсюда — карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение бога.

Скука пришла в наш мир вместе с праздностью; она в значительной мере объясняет склонность человека к наслаждениям, картежной игре, обществу. Тот, кто любит труд, не нуждается в развлечении.

Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще более печальной.

Старик, если он не блещет умом, всегда высокомерен, спесив и неприступен.

Секвестр, опись имущества, тюрьмы, казни — все это, разумеется, необходимо; но, оставив в стороне правосудие, законы и денежные расчеты, я все равно не перестану удивляться жестокости, с которой человек относится к себе подобным.

Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, опаленные солнцем, они склоняются к земле, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли.

Я лишь потому не клянусь судьбу, не сделавшую меня государем или министром, что слишком хорошо знаю, какова участь виноградаря, солдата и каменотеса.

## Глава XII О СУЖДЕНИЯХ

### 1

Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство; отсюда — партии, заговоры, ереси.

### 3

Великое удивляет нас, ничтожное отталкивает, а привычка примиряет и с тем и с другим.

Привычка и новизна исключают друг друга, и обе равно притягивают нас.

Звание комедианта считалось позорным у римлян и почетным у греков. Каково положение актеров у нас? Мы смотрим на них, как римляне, а обходимся с ними, как греки.

Тупица — это глупец, который не раскрывает рта; в этом смысле он предпочтительней болтливового глупца.

Если бы глупец боялся сказать глупость, он уже не был бы глупцом.

Чем больше наши ближние похожи на нас, тем больше они нам нравятся; уважать кого-то — это, по-видимому, то же самое, что приравнять его к себе.

В смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы; в этом случае и Катону и Пизону — одна честь.

«Ходит слух, что Пизон умер. Это большая потеря! — восклицаете вы. — Он заслуживал долгой жизни, потому что был человек достойный, умный, обходительный, твердый, смелый, надежный, великодушный, верный!» Не забудьте только прибавить про себя: «Дай бог, чтобы слух не оказался ложным!»

87

Тот, кто думает только о себе и о сегодняшнем дне, неизбежно совершает ошибки в политике.

104

Свобода — это не праздность, а возможность свободно располагать своим временем и выбирать себе род занятий; короче говоря, быть свободным значит не предаваться безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать. Какое великое благо такая свобода!

109

Ни к кому не ходить на поклон и не ждать, что придут на поклон к вам, — вот отрадная жизнь, золотой век, естественное состояние человека!

112

Благоразумное поведение и дух умеренности отодвигают человека в тень; славу и всеобщее восхищение можно стяжать лишь великими добродетелями или, быть может, великими пороками.

Успех всегда располагает нас к тому, кто его добился: будь этот человек вельможей или простолюдином — мы восхищаемся им, приходим от него в восторг; безнаказанное преступление превозносится чуть ли не так же, как добродетельное деяние, а удача заменяет чуть ли не все добродетели вместе взятые. Если поступок не может быть оправдан даже успехом, значит, это черное, низкое, мерзостное злодейство.

## Глава XIII

### О МОДЕ

#### 2

Любителю редкостей дорого не то, что добротно или прекрасно, а то, что необычно и диковинно, то, что есть у него одного. Модное и труднодоступное он ценит больше, чем совершенное. Собираительство для него не развлечение, а страсть, которая если и уступает в силе честолюбию и любви, то лишь потому, что предмет ее очень мелок. Страсть эта распространяется далеко не на все, что редко и примечательно, а только на что-то одно, редкое и в то же время модное.

#### 11

Глупый и пустой человек носит широкополую шляпу, камзол с откидными рукавами, штаны на шнуровке и туфли; с вечера он уже начинает думать о том, как и где сможет обратить на

себя внимание. Разумный человек носит то, что ему советует его портной; презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать.

## 16

В былые времена придворные носили штаны с широкой кружевной отделкой и камзол, не признавали париков и были вольнодумцами. Теперь это не принято; они носят парики, одежду в обтяжку, гладкие чулки и отличаются благочестием: все решает мода.

## 17

Хотя это и противно здравому смыслу, но еще совсем недавно придворный, отличавшийся благочестием, казался смешным чудаком; мог ли он надеяться, что так скоро войдет в моду?

## 18

На что только не пойдет придворный, чтобы возвыситься, если ради этого он готов даже притвориться благочестивым!

## 19

Краски растерты, холст натянут, но как мне запечатлеть на нем человека — беспокойного, легкомысленного, непостоянного, многоликого? Я рисую его благочестивцем, и мне кажется, что я правильно уловил черты сходства, но он вдруг меняется и становится вольнодумцем. Хотя бы он подольше побыл в этом дурном обличии, чтобы я мог верно изобразить всю порочность его

ума и сердца! Но мода не стоит на месте: он снова благочестив.

## 21

Благочестивец — это такой человек, который при короле-безбожнике сразу стал бы безбожником.

## 24

Постель Онуфрия застлана серой саржей, но перины у него пуховые, а простыни полотняные; одежда у него простая, но удобная — летом легкая, зимой очень теплая; он носит сорочки из тончайшей ткани, но тщательно скрывает их под верхним платьем. Онуфрий никогда не говорит «моя власяница» или «мой бич для смирения плоти» — он вовсе не желает прослыть ханжой — хотя таков он и есть — напротив, он хочет считаться человеком благочестивым, каким отроду не был; правда, ничего не говоря, он все же внушает ближним мысль, что носит власяницу и истязает себя бичом. В комнате у него всюду лежат книги; откройте их, и вы увидите, что это «Духовная борьба», «Христианский дух» и «Святой год», — книги иного рода он держит под замком. Вот он шагает по улице и уже издали замечает, что навстречу ему идет человек, перед которым следует притвориться благочестивым: потупленный взор, медлительная и скромная поступь, сосредоточенный вид — все эти уловки ему знакомы, и он отлично играет свою роль. Он входит в церковь, внимательно осматривается, а потом, сообразно с тем, кто там находится, либо преклоняет колена и начинает



молиться, либо не делает ни того, ни другого; если возле него остановится человек, облеченный властью и к тому же добродетельный, он будет не только молиться, но и размышлять вслух, испуская при этом громкие стенания и вздохи; как только добродетельный человек проходит дальше, Онуфрий, углядев это краешком глаза, сразу успокаивается и перестает стенать. Вот он снова является в божий храм, расталкивает прихожан и выбирает себе такое место, чтобы все видели, как смиренно он склоняется перед господом; если до его слуха долетают смех и болтовня придворных, которые в церкви шумят больше, чем в приемной вельможи, он шикает так громко, что заглушает разговоры, и вновь предается размышлению, сравнивая этих господ с собою — в свою пользу, конечно. Он и носу не кажет в церкви, где можно прослушать две обедни, проповедь и всю вечернюю службу, оставаясь наедине с богом; нет, Онуфрий любит проявлять свое благочестие перед многочисленными прихожанами, он признает лишь те храмы, куда стекается много народу: там он не останется незамеченным, там его непременно все увидят. Постится он два, в крайнем случае три дня в году, и без всякого повода; но вот подходит великий пост, и тут у него начинает болеть грудь, кружиться голова, он кашляет, недомогает и, снисходя к настойчивым просьбам, уговорам, мольбам окружающих, прерывает пост в самом начале. Если его просят рассудить какой-нибудь семейный спор или сказать, кто из тяжущихся прав, — он всегда будет на стороне сильнейшего, иначе говоря — более богатого: ему и в голову не приходит, что тот или та, у кого больше

доходов, может быть несправедлив. Если ему удастся войти в доверие к человеку состоятельному, от которого можно ждать важных услуг, стать его другом и приживалом, он ни за что не будет соблазнять его жену или, во всяком случае, ухаживать за ней и объясняться ей в любви; если он сомневается в ее умении молчать, то скорее предпочтет улизнуть, оставив в ее руках край своей одежды; не рискнет он и прельщать ее благочестивыми речами, ибо прибегает к ним не по привычке, а вполне обдуманно: он не станет пускать их в ход, если это может сделать его смешным. Онуфрий знает, где найти женщин, более склонных к мужскому обществу и более податливых, чем жена его друга; впрочем, он проводит с ними время себе на выгоду: все кругом говорят, что Онуфрий живет в благочестивом уединении, и как не поверить этому, когда через некоторое время наш герой снова появляется в обществе, усталый, изможденный, всем своим видом показывающий, что нисколько себя не бережет. Однако ему вполне подходят и женщины, которые цветут и наслаждаются жизнью под сенью благочестия, с той лишь оговоркой, что Онуфрий пренебрегает старухами, а из молодых предпочитает миловидных и хорошо сложенных, — названные качества для него весьма притягательны. Эти женщины уходят — уходит и Онуфрий; они возвращаются — возвращается и он; они остаются — он не двигается с места: так всюду и везде он услаждает себя их обществом. И разве можно упрекнуть его в этом, если они, как и он, благочестивы? Он не преминет ловко извлечь пользу из слепой, доверчивой привязанности своего друга: просит у него денег взаймы или обставляет дело так, что этот

человек сам ему предлагает, да еще с упреком в нежелании прибегать к дружеской помощи; порой под грошовый долг дает расписку, уверенный, что этот долг никто не потребует; сокрушенно заявляет, что ни в чем не нуждается, — это значит, что ему нужна лишь маленькая сумма денег; зато в другой раз начинает так расхваливать щедрость своего покровителя, что тот хотя бы из самолюбия раскошеливается на щедрую подачку; но, само собой разумеется, он и не думает наследовать ему или получить в дар все его состояние, особенно если бы для этого пришлось тягаться с законным сыном: благочестивец не может быть ни скупым, ни бессовестным, ни своекорыстным, ни даже несправедливым. Онуфрий не понимает, что такое истинное благочестие, но он хочет казаться благочестивым и, весьма ловко изображая набожность, под ее прикрытием устраивает свои дела: поэтому он очень осторожен и держится подальше от семей, где есть дочь на выданье и сын, которого нужно пристроить к месту; слишком священны и нерушимы права детей, их нельзя поправить, не наделав шума, а Онуфрий не желает лишних толков, ибо они могут дойти до ушей монарха, от которого он тщательно скрывает свои интриги, иначе будет разоблачен и предстанет перед людьми в истинном свете. Он предпочитает вести наступление на дальних родственников — их можно обижать с меньшим риском попасться. Онуфрий — гроза двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц, друг и поклонник состоятельных дядюшек; он считает себя законным наследником всех богатых и бездетных старцев; если такой старец хочет, чтобы его родственники все-таки получили после него наследство, он

должен во всеуслышание опровергнуть притязания Онуфрия. Если последнему не удастся полностью прибрать к рукам состояние своих друзей, то уж бóльшую часть он непременно присвоит: чтобы осуществить этот достойный замысел, достаточно небольшой клеветы или даже легкого злословия, а этим искусством Онуфрий владеет в совершенстве. Он не оставляет свой талант втуне и даже выдает его за особую доблесть, утверждая, что иных людей необходимо выводить на чистую воду: естественно, к ним принадлежат все, кого он не любит, кому хочет навредить или кого жаждет обобрать. Порою он добивается своей цели, даже не давая себе труда раскрыть рот: если при нем заговорят об Эвдоксе, он в ответ лишь улыбнется и вздохнет; его станут расспрашивать, но он не ответит; да и зачем ему отвечать? Он уже достаточно сказал.

## Глава XIV

### О НЕКОТОРЫХ ОБЫЧАЯХ

10

Нужда в деньгах примирила дворян с разбогатевшими выскочками, и теперь старинная знать уже не может хвалиться чистотой крови.

15

Если благородное происхождение относится к числу добродетелей, то его пятнает все, что недобродетельно; если же оно не является добродетелью, то вообще мало чего стоит.

Сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, набожных, готовых посвятить себя богу, но недостаточно богатых, чтобы принести обет бедности в богатом монастыре!

Долг судей — вершить правосудие, а их ремесло — оттягивать его; многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом.

Пытка — это удивительное изобретение, которое безотказно губит невинного, если он слаб здоровьем, и спасает преступника, если он крепок и вынослив.

Наказанный преступник — это пример для всех негодяев; невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей.

Я, пожалуй, решусь утверждать, что никогда не стану вором или убийцей; но если я начну утверждать, что меня никогда не осудят за воровство или убийство, я выкажу себя очень легковверным человеком.

Печальна судьба невинного, который из-за поспешности судопроизводства объявлен преступником; но не печальнее ли жребий его судьи?

Хороший врач — это человек, знающий средства от некоторых недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий к больному тех, кто сможет ему помочь.

Печальные следствия, к которым приводит наглость шарлатанов, заставляют нас ценить врачей и искусство врачевания: они не препятствуют нам умирать, а шарлатаны нас убивают.

## Франсуа де Ларошфуко (1613—1680)

Франсуа де Ларошфуко принадлежал к одному из самых знатных дворянских родов Франции. Военная и придворная карьера, к которой его предназначали, не требовала обучения в коллеже. Свои обширные знания Ларошфуко приобрел уже в зрелом возрасте путем самостоятельного чтения. Попав в 1630 г. ко двору, он сразу оказался в гуще политических интриг. Происхождение и семейные традиции определили его ориентацию — он принял сторону королевы Анны Австрийской против кардинала Ришелье, который был ему ненавистен как гонитель старинной аристократии. Участие в борьбе этих далеко не равных сил навлекло на него опалу, высылку в свои владения и кратковременное заключение в Бастилию. После смерти Ришелье (1642) и Людовика XIII (1643) у власти оказался кардинал Мазарини, весьма непопулярный во всех слоях населения. Феодалная знать пыталась вернуть свои утраченные права и влияние. Недовольство правлением Мазарини вылилось в 1648 г. в открытое восстание против королевской власти — Фронду. Ларошфуко принял в ней активное участие. Он был тесно связан с самыми высокопоставленными фрондерами — принцем Конде, герцогом де Бофором и другими и мог вблизи наблюдать их нравы, эгоизм, властолюбие, зависть, корысть и вероломство, которые проявились на разных этапах движения. В 1652 г. Фронда потерпела окончательное поражение, а ее участники были частично куплены уступками и подачками, частично подвергнуты опале и наказанию. Ларошфуко, в числе последних, вынужден был отправиться в свои владения в Ангума. Именно там, вдали от политических интриг и страстей, он начал писать «Мемуары», которые первоначально не предназначал для печати. В них он дал неприкрытую картину событий Фронды и характеристику ее участ-

ников. В конце 1650-х гг. он вернулся в Париж, был благосклонно принят при дворе, но полностью отошел от политической жизни. В эти годы его все более начинает привлекать литература. В 1662 г. вышли без его ведома «Мемуары» в фальсифицированном виде, он опротестовал это издание и выпустил в том же году подлинный текст. Вторая книга Ларошфуко, принесшая ему мировую славу — «Максимы и моральные размышления», — была, как и «Мемуары», издана сначала в искаженном виде помимо воли автора в 1664 г. В 1665 г. Ларошфуко выпустил первое авторское издание, за которым последовали при его жизни еще четыре. Ларошфуко исправлял и дополнял текст от издания к изданию. Последнее прижизненное издание 1678 г. содержало 504 максимы. В посмертных изданиях к ним были добавлены многочисленные неопубликованные, а также исключенные из предыдущих. В таком составе они и публикуются в настоящее время.

## МАКСИМЫ И МОРАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

С. 28. *...война между Августом и Антонием...* — Марк Антоний (83—30 до н. э.) — римский военачальник и политический деятель. В союзе с Октавианом (будущим императором Августом) разбил войска Брута и Кассия. Борьба между бывшими союзниками, начавшаяся после распада Второго триумvirата, закончилась победой Октавиана в 31 г. до н. э. в битве при Акциуме. В этой максиме Ларошфуко проецирует на проблемы мировой истории свои наблюдения периода Фронды.

С. 29. *...сквозь этот покров.* — Эта максима подсказана нравственной эволюцией многих прежних соратников и единомышленников Ларошфуко по Фронде; после бурно проведенной молодости, политических и любовных интриг они ударились в благочестие.

С. 30. *...цель которой — завоевать любовь народа.* — Аналогичная мысль содержится у Тацита, сочинения которого пользовались большой популярностью в XVII в.

С. 34. *...выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям.* — Ларошфуко в обобщенной форме оценивает конкретную практику сильных мира сего (прежде всего Анны Австрийской), с которой ему пришлось столкнуться на личном опыте.



...тот обычно становится неспособным к великому.— В «Мемуарах» Ларошфуко сходная мысль высказана о Людовике XIII.

С. 37. ...делают вид, что оно уже упрочено.— Эта максима выражает в обобщенной форме наблюдение над поведением одного из главных участников Фронды — герцога де Бофора.

Как бы ни кичились люди...— В первом издании «Максим» эта же мысль была выражена конкретнее: вместо «люди» стояло «министры» — имелись в виду кардиналы Ришелье и Мазарини.

С. 41. ...о желании занять более выгодную позицию.— В этой максиме обобщен политический опыт Ларошфуко периода Фронды.

С. 49. ...чтобы избежать ловушки хитреца.— Намек на герцога де Бофора, о котором в «Мемуарах» сказано: «Он достаточно искусно достигал своих целей, идя напролом».

С. 61. Принц Конде, Луи II де Бурбон (1621—1686), обычно называемый «великим Конде» — выдающийся полководец, участник Фронды.

Маршал Тюрен, Анри де Латур д'Овернь (1611—1675) — прославленный полководец, в период Фронды выступал против кардинала Мазарини на стороне фрондеров.

С. 87. ...отпечаток страны, в которой он родился.— Разные комментаторы относят это высказывание к различным конкретным лицам, в частности, к Мазарини, которого в период Фронды часто корили его итальянским происхождением.

С. 93. Буримé — стихотворение на заданные рифмы.

С. 97. ...любой ценой отделаться от них.— Возможно, имеется в виду принц Конде, которого предпочитали отправлять во главе армии на театр военных действий, лишь бы удалить его от двора.

С. 126. Старость — вот преисподняя для женщин.— Комментаторы указывают, что эта максима адресована Нинон де Ланкло (1620—1705) — известной куртизанке, салон которой охотно посещали вольнодумно настроенные аристократы, поэты, артисты.

С. 136. ...некий итальянский поэт...— Имеется в виду Баттиста Гварини (1538—1612), автор пасторали «Верный пастух», пользовавшейся большим успехом в литературных салонах Франции XVII в.

## Блез Паскаль (1623—1662)

Блез Паскаль родился в Клермоне, где отец его занимал должность председателя суда. После ранней смерти жены он целиком посвятил себя воспитанию двух дочерей и сына, с детских лет обнаруживавших яркую одаренность. В 1631 г. он переехал в Париж, чтобы обеспечить детям благоприятное для их интеллектуального развития окружение. Отец — сам ученый-математик — обучал детей этой науке, занимавшей важное место в их домашнем образовании. Паскаль с раннего возраста обнаружил поразительные способности к точным наукам, наблюдательность к явлениям физического мира. Шестнадцати лет он написал трактат о конических сечениях, заслуживший высокую оценку Декарта. В 1644 г. он изобрел первую счетную машину. Вскоре друг семьи математик и физик Мерсен, состоявший в переписке с Торичелли, попытался повторить опыты итальянского ученого и привлек к своим экспериментам Паскаля. В эти годы математика и физика занимали основное место в интеллектуальном мире Паскаля. Отец с самого начала внушал детям строгое разграничение между предметами веры, которые не могут быть постигнуты разумом, и предметами научного разумного познания, между «божественным» и «человеческим». Однако постепенно в семью начали проникать веяния, исходившие из янсенистской общины Пор-Рояля. Аскетическими идеями отказа от мирских радостей захвачены были обе сестры Паскаля, на какое-то время он сам отдал им дань. Однако это первое «обращение» было кратковременным. Паскаль по-прежнему много занимался наукой, озабочен был утверждением своего приоритета в научных вопросах. Показательно, что он отчаянно сопротивлялся решению младшей сестры уйти в монастырь. После смерти отца он на короткое время погружается в светскую жизнь, общается с кругом философов-вольнодумцев, учеников Гассенди. В 1654 г. Паскаль пережил духовный кризис, завершившийся окончательным религиозным обращением. Предпосылкой этого душевного надлома, кроме настроений, укрепившихся в семье, послужил случай, едва не стоивший ему жизни: когда он проезжал

по мосту в Париже, лошади понесли, свалились в воду, однако построжки чудом оборвались, и это предотвратило падение кареты. Паскаль испытал тяжкое душевное потрясение. Он оставил свет и удалился в Пор-Рояль. В годы уединенной жизни начинается его собственно писательская деятельность. В течение 1656—1657 гг. выходят его восемнадцать «Писем к провинциалу» — остро обличительное выступление против иезуитов. Написанные с янсенистских позиций (янсенисты были непримиримыми врагами иезуитов), они, однако, выходят далеко за рамки чисто богословских вопросов и подвергают уничтожающей критике лицемерную сущность иезуитской морали. Книга эта, скомпрометировавшая иезуитов в общественном мнении, заняла важное место во французской публицистической литературе. Одновременно с ней Паскаль работал над книгой «Апология христианской религии», сохранились многочисленные наброски, фрагменты, афоризмы, затрагивавшие, наряду с чисто религиозными, широкий круг общефилософских и нравственных вопросов. После смерти Паскаля (1662) они были собраны и в 1669 г. изданы сначала для ограниченного круга читателей. За этим изданием последовало в 1670 г. официально считающееся первым издание «Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах». Осуществленное руководителями янсенистской общины при участии старшей сестры Паскаля, оно было далеко не полным, состав был тенденциозным и учитывал сложную идеологическую обстановку тех лет (установление кратковременного «церковного мира» между официальной католической церковью и янсенистами). Именно в таком виде «Мысли» неоднократно переиздавались в XVIII в. и были доступны просветителям, в частности Вольтеру, подвергнутому их резкой и не всегда обоснованной критике в «Философских письмах» (1734). Только в середине XIX в. текст «Мыслей» был пересмотрен и осуществлены дополненные и текстологически уточненные издания по рукописям. В настоящем издании «Мысли» представлены выборочно.

## ИЗ «МЫСЛЕЙ»

С. 154. ...громоzdит антитезы... — Нагромождение антитез было излюбленным риторическим приемом литературы барокко.

...Ты сказал скорее как поэт, чем как человек.— П е т р о н и й. Сатирик.

С. 155. ...почему же не сказать «математические красоты»...— Против такого расширенного понимания красоты решительно возражал Вольтер, критикуя «Мысли» в «Философских письмах» (1734).

С. 157. Ни в чем излишка.— Т е р е н ц и й. Девушка с Андроса.

С. 158. Марциал Марк Валерий (ок. 40—102) — римский поэт, мастер эпиграмматического жанра, часто высмеивает физические недостатки тех, против кого были направлены его эпigramмы. В понимании моралистов XVII в. это недостойный прием, ибо сатира призвана обличать нравственные пороки, за которые человек несет ответственность.

Излишнюю пышность урежет.— Г о р а ц и й. Наука поэзии, ст. 447.

С. 159. Не король... а державный монарх...— Паскаль иронизирует над характерным приемом «украшенной речи» — описательной перифразой, ставшей впоследствии одним из объектов критики со стороны противников классицизма.

С. 160. ...я говорю не о нравственных принципах...— В одном из предшествующих фрагментов Паскаль прямо перечисляет неприемлемые для него принципы Монтеня: пренебрежительное отношение к спасению души, «языческое» отношение к смерти, то есть к самоубийству, осуждаемому религией, «похабные слова» и др.

...рассказывает слишком много побасенок и слишком много говорит о себе.— Эти упреки чисто литературного плана обусловлены прямо противоположной писательской манерой самого Паскаля — установкой на отвлечение от частных и субъективных наблюдений в пользу объективно обобщенных умозаключений. Вместе с тем следующий фрагмент по сути дела развивает принцип Монтеня — познать самого себя.

С. 164. Демокрит из Абдеры (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) считал, что в мире все состоит из материальных неделимых частиц — атомов.

С. 165. «Об основах философии» («Начала философии») — название трактата Декарта (1644).

«Обо всем познаваемом» — один из тезисов итальянского философа-гуманиста Джованни Пико делла Мирандолы (1463—1494).

С. 166. *Человек признателен за благодеяние...*— цитата из «Анналов» Тацита (IV, 18).

С. 168. *...в нас самих сочетаются субстанции неоднородные, противоположные — душа и тело.*— Здесь Паскаль присоединяется к дуалистической концепции Декарта, согласно которой духовное и материальное начала мира оторваны друг от друга. Основным качеством, присущим материи, он считает протяженность, основным качеством духа — мышление.

С. 169. *Человек неспособен постичь...*— цитата из книги Блаженного Августина «О граде Божием» (XXI, 10), учение которого составляло основу янсенизма.

*...дать мирозданию щелчок...*— Здесь выступает принципиальное расхождение между концепцией Декарта и философско-религиозными взглядами Паскаля. Точка зрения Декарта получила дальнейшее развитие в эпоху Просвещения в философии деизма в виде метафоры: «бог — часовщик, мироздание — часовой механизм».

С. 173. *Пушистые Коты.*— Под этим иносказанием выведены судебские в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. V, гл. XI).

*...дворцы, где вершится правосудие...*— Здание Парижского суда называлось Дворцом правосудия.

*...изображение лилий...*— Цветы лилии были изображены на гербе французских королей.

С. 175. *...будто пустоты не существует...*— До середины XVII в. в науке господствовало мнение, что природа не терпит пустоты. Этой точки зрения придерживался и Декарт. Предполагают, что эта проблема обсуждалась при встрече Паскаля с Декартом в 1647 г. В 1648 г. Паскаль поставил опыт с ртутными столбами, установленными на холмах, и доказал разницу воздушного давления на разной высоте.

С. 177. *Пятна на солнце.*— По-видимому, Паскаль хочет сказать, что солнце когда-нибудь может угаснуть, и тогда ожидаемый рассвет не наступит.

*...врожденные понятия... понятия привычные?*— Проблема соотношения этих двух факторов познания подробно рассматривается философами и моралистами XVIII в., в частности Вовенаргом.

С. 179. *...разум, неразрывно связанный с волей...*— Рационалистическая концепция разумной воли играет важную роль в литературе французского классицизма. В XVIII в., например у Вовенарга, она получает иную, сенсуалистическую трактовку.

С. 181. *...оно стало одной из главных причин бунта... против истинной церкви.*— Паскаль имеет в виду тезис Мартина Лютера об отпущении грехов при причастии без предварительной исповеди. Разумеется, этот тезис был далеко не главной причиной Реформации.

*...те, чья прямая обязанность увещевать ближних, изворачиваются...*— Подразумеваются иезуиты.

С. 182. *...мы только и делаем, что лжем и льстим друг другу.*— Весь фрагмент о себялюбии близко перекликается с концепцией Ларошфуко, хотя «Мысли» и «Максимы» возникли независимо друг от друга.

С. 183. *Пример чистоты нравов Александра Великого... к распущенности.*— Имеется в виду великодушное обращение Александра Македонского (356—323 до н. э.) с семьей побежденного им персидского царя Дария, в частности, что он не воспользовался правом победителя по отношению к его красавице-жене. Противоположный пример из его жизни — убийство его друга Клита на пиру в приступе пьяного гнева.

С. 184. *Погода мало влияет на расположение моего духа...*— Здесь Паскаль полемизирует с Монтенем, который утверждает: «На нас действует даже воздух и ясное небо» и в подтверждение приводит двустиишие из «Одиссеи» Гомера (XVIII, 136—137) в латинском переводе Цицерона. Последние слова этого двустиишия начинают фрагмент Паскаля.

С. 186. *...одно и то же вызывает у человека то смех, то слезы.*— Эта же мысль присутствует у Монтеня.

С. 187. *Хорошо сработанный башмачный каблук.*— Пример, избранный Паскалем, возможно, подсказан тем, что кое-кто из отшельников Пор-Рояля в знак смирения занимался сапожным ремеслом. По этому поводу Сент-Бев приводит слова, сказанные Жаком Буало некоему иезуиту, утверждавшему, что Паскаль мастерил башмаки: «Не знаю, мастерил или нет, но согласитесь, достопочтенный отец, что пинок сапогом он вам дал основательный».

С. 190. *...Цезарь был слишком стар...*— К началу галльских войн Цезарю было сорок лет. Александр Македонский вступил на престол в двадцать лет. Октавиан Август возглавил римское войско в девятнадцать лет. Вольтер, критикуя этот фрагмент, говорит, что Александр был естественным продолжателем своего отца, а для Цезаря его военные победы были актом политической борьбы. Всю мысль Паскаля Вольтер считает лож-

ной, ибо именно зрелость Цезаря была необходима, чтобы «выпутаться из всех этих интриг».

С. 193. *Пирр* — царь Эпира (319—272 до н. э.), о нем рассказывает Плутарх («Жизнеописание Пирра», 14) и вслед за ним — Монтень.

С. 198. ...*ради этого мы стараемся казаться*...— Противоречие между реальностью и видимостью, между «быть» и «казаться» — одна из узловых проблем эпохи.

С. 201. *Это свирепое племя*...— цитата из Тита Ливия («Римская история от основания города», XXVI, 17). ...*(например с. 184)*...— Вероятно, Паскаль имеет в виду с. 184 издания «Опытов» Монтеня 1635 г., которым он пользовался и где речь идет о людях, мужественно переносивших страдания и не показывавших виду, как они мучительны.

С. 203. *Причина ее* — «неведомо что» (Корнель)...— Имеется в виду стих из трагедии Корнеля «Медея»: «Нередко неведомо что, чего нельзя выразить, захватывает, увлекает нас и заставляет полюбить» (II, 5). Выражение «неведомо что» становится в XVII в. ходовой формулой в моралистической литературе при анализе любовной страсти, переносится в область эстетики в обоих случаях — как слабая попытка преодолеть рационалистическую ограниченность объяснения человеческой психики и законов искусства.

*Нос Клеопатры*...— одно из самых знаменитых изречений Паскаля. Клеопатра (69—30 до н. э.) — египетская царица, славившаяся своей красотой. Ею был увлечен Юлий Цезарь, затем — Марк Антоний, ставший ее супругом и в союзе с ней сражавшийся против римского войска во главе с Октавианом. Потерпев поражение, Антоний и Клеопатра покончили с собой.

С. 205. ...*Соломон и Иов — счастливейший и несчастнейший из смертных*.— Соломон, царь иудейский, по библейскому преданию — мудрейший из людей, могущественнейший из владык, вкусивший всех мирских блаженств. Иов — праведник. Желая испытать его покорность и смирение, бог наслал на него все возможные беды и несчастья, но Иов остался непоколебим в своей вере и смирении.

...*Кромвель грозился стереть с лица земли всех истинных христиан*...— Кромвель Оливер (1599—1658) — один из главных деятелей английской буржуазной революции. После казни (1649) Карла I Стюарта и провозглашения республики постепенно сосредото-

чил в своих руках власть, в 1653 г. провозгласил себя лордом-протектором. После его смерти этот титул унаследовал его сын Ричард. В 1660 г. произошла реставрация монархии в лице Карла II, находившегося в годы революции в эмиграции. Английская революция проходила под религиозными пуританскими лозунгами. Предметом особой вражды пуритан были католики, которых Паскаль и имеет в виду, говоря об «истинных христианах».

С. 206. *...тот, кто был в дружбе с английским королем... остаться без пристанища?* — Все три перечисленных Паскалем монарха при разных обстоятельствах лишились престола: Карл I был казнен во время революции, польский король Ян II Казимир (1609—1672) был в 1656 г. отстранен от власти, шведская королева Кристина (1626—1689), покровительница Декарта, в 1654 г. добровольно отреклась от престола, перешла в католичество и остаток жизни провела в Риме и Париже. Судьба этих государей должна, по мысли Паскаля, продемонстрировать зыбкость мирского величия и могущества.

С. 207. *Сильнее воздействует страх, нежели вера* — перифраза из Блаженного Августина («Послания»).

*Ослепление пустяками* — цитата из Библии («Книга премудрости Соломона»).

С. 208. *Память об однодневном госте* — цитата из Библии («Книга премудрости Соломона»).

С. 218. *«На небе всего лишь тысяча двадцать две звезды...»* — Это число фигурировало в каталоге александрийского астронома Птолемея (ок. 90 — ок. 160).

С. 221. *Нам уже ничего не принадлежит... понятие условное.* — Цицерон. О причинах добра и зла, V, 21. *Преступления совершаются... и плебисцитов.* — Сенека. Нравственные письма к Луциллию, 95. *Некогда мы страдали... из-за наших законов.* — Тацит. Анналы, III, 25. Паскаль объединяет эти три высказывания разных авторов на основе их общего смысла — относительности понятия права и законности.

С. 222. *...мудрейший из законодателей говорил... надумать...* — Имеется в виду Платон («Государство», V). *И так как он не ведает истины...* — цитата из Блаженного Августина («О граде Божием», IV, 27).

С. 223. *...обрекать смерти множество испанцев...* — На протяжении нескольких десятилетий XVII в. Испания была главным военным противником Франции. В пери-



од Фронды многие ее участники искали поддержки у Испании в своей борьбе против королевской власти. Только в 1659 г. был заключен Пиренейский мир, положивший окончание этим войнам.

*Об истинном праве* — начало цитаты из Цицерона («Об обязанностях», III, 17): «Мы не обладаем твердым и четким представлением об истинном праве и подлинном правосудии; мы довольствуемся тенью и призраками».

С. 224. *«Когда владения переходят во власть вооруженной силы...»* — Лукреций. О природе вещей, XI, 21.

С. 226. *Если швейцарца назвать человеком благородного происхождения...* — В некоторых швейцарских кантонах в органы власти могли входить лишь представители бюргерских родов, связанных с городскими цехами. Противопоставление демократического устройства Швейцарии феодально-абсолютистскому строю Франции с конца XVII и на протяжении XVIII в. становится одним из общих мест французской публицистической литературы. У Паскаля оно служит еще одним примером относительности общепринятых социальных представлений.

С. 228. *Хорош Монтень...* — Имеется в виду гл. XLII кн. I «Опытов» Монтеня. Точки зрения Монтеня и Паскаля на существо поставленной проблемы совпадают, однако Паскаль толкует ее реальную основу в гораздо более пессимистическом духе.

С. 230. *...гражданская смута — величайшая из бед.* — Эта мысль скорее всего подсказана событиями английской буржуазной революции, возможно, и воспоминаниями о Фронде. Тема борьбы за власть, династических распрей многократно ставилась и в публицистике, и в драматургии XVII в. (в частности, в трагедиях Корнеля).

С. 231. *Не будем же издеваться над тем... за чины и должности...* — Этот фрагмент, как и ряд предшествующих, построен по принципу парадокса: заведомо ложное утверждение с помощью мнимых аналогий преподносится как норма. Тем самым подвергнуто сомнению само понятие нормы, сложившейся в общественном сознании.

*Монтень не прав...* — Имеется в виду высказывание Монтеня: «Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь

потому, что они являются законами... Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми несправедливыми из-за своей ненависти к равенству; но всегда людьми — существами, действующими суетно и непоследовательно» («Опыты», кн. III, гл. XIII).

С. 234. ...развлекались сочинением: один — «Законов», а второй — «Политики»... — Имеются в виду диалог Платона «Законы» и трактат Аристотеля «Политика». Весь фрагмент построен по принципу парадокса.

С. 235. *Своекорыстие и сила — источник всех наших поступков...* — Здесь мысль Паскаля обнаруживает близкое сходжение с концепцией Ларошфуко.

С. 236. *Действия арифметической машины...* — В 1644 г. Паскаль демонстрировал изобретенную им первую счетную машину в доме принца Конде. Однако успех изобретения, на который он рассчитывал, не оправдал себя: машина была продана всего за сто ливров, тогда как создателю ее она обошлась вчетверо дороже.

*Человек — всего лишь тростник...* — одно из самых знаменитых изречений Паскаля, в концентрированном виде выражающее его понимание человеческой природы.

С. 237. *Стоики.* — Скептическая оценка стоической философии отличает Паскаля от многих его предшественников и современников, приверженных стоицизму.

С. 238. *Эпаминонд* (ок. 418—362 до н. э.) — фиванский полководец и политический деятель, победитель спартанцев при Левктре, прославился воинскими доблестями, милосердием и справедливостью.

*Перемены по вкусу сильным мира сего* — начало цитаты из Горация (Оды, III, 29, 13), которую приводит Монтень в гл. XLII кн. I «Опытов». Паскаль повторяет неточность, допущенную Монтенем.

С. 239. *Владельцы князь...* развлекаются играми — почти дословное развитие мысли Монтеня, предшествующей приведенной цитате из Горация.

С. 241. *Могущество мух.* — Обобщая мысль предыдущего фрагмента, Паскаль, по существу, перефразирует Монтеня: «Достаточно бросить ему [человеку] немного пыли в глаза (или напустить пчел) — и сразу все наши легионы... будут смяты и разбиты наголову» («Опыты», кн. II, гл. XII).

*...тепло — это движение неких частиц...* — Паскаль

суммарно излагает здесь основные положения трактата Декарта «О свете» (гл. II). Термин «животные души» также принадлежит Декарту.

С. 243. *Пирронизм.*— *Пиррон* (ок. 365 — ок. 275 до н. э.) — греческий философ, основоположник скептического направления, оказавший значительное влияние на развитие философии нового времени, в частности на Монтеня. Мыслители XVII—XVIII вв. широко пользовались термином «пирронизм» для обозначения скептицизма.

С. 247. *...жизнь — тоже сон...*— одно из распространенных суждений той эпохи, получившее широкое отражение в литературе барокко (наиболее яркий пример драма Кальдерона «Жизнь есть сон», 1635).

С. 250. *...не меньшим величием души, чем творящий добро...*— «Величие души», проявляющееся в содеянном зле, получило отражение в трагедиях Корнеля 1640-х гг. («Родогуна», «Ираклий») и было теоретически осмыслено им в его критических рассуждениях.

С. 251. *Разве считали Павла Эмилия несчастным... низложенного царя Персея считали таким несчастным...*— Консул Павел Эмилий во главе римского войска разбил в 166 г. до н. э. македонского царя Персея (230—160 до н. э.) и взял его в плен. Монтень пишет по этому поводу: «Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя македонского... передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальной колесницей, тот ответил: „Пусть обратится с этой просьбой к себе самому”» («Опыты», кн. I, гл. XX). Павел Эмилий подразумевал естественный, с точки зрения римлянина, способ избежать бесчестия — самоубийство. Монтень приводит этот случай в связи с рассуждением о философском отношении к смерти, Паскаль — в связи с относительностью людского величия и его утраты.

*Междоусобица разума и страстей* — одна из основных моральных проблем янсенизма, получившая художественное воплощение в трагедиях Расина.

С. 257. *Люди ненавидят друг друга...*— Весь этот фрагмент, как и следующий, развивает мысль, сходную с концепцией Ларошфуко.

*Митон* — один из друзей Паскаля, принадлежавший к кружку вольнодумцев-либертенов. Паскаль выступает здесь против гедонистического мировоззрения, распространенного среди либертенов.

С. 261. *Царство Божие в нас самих...*— Евангелие от Луки, XVII, 21 (Царствие Божие внутри вас есть).

## Жан де Лабрюйер (1645—1696)

О жизни Лабрюйера известно очень немного, и она бедна внешними событиями. Он родился, по-видимому, в деревне близ Парижа, в небогатой буржуазно-чиновничьей семье. Отец его был генеральным контролером рент Парижского муниципалитета. Лабрюйер получил хорошее образование, изучал право в Орлеанском университете, но о какой-либо адвокатской деятельности его нет никаких сведений. Получив после смерти дяди наследство, он купил в 1673 г. должность генерального казначея в округе Кан (в Нормандии), но продолжал жить в Париже и делами своего ведомства не занимался. В 1679 г., оставшись в результате ограбления без средств, он вынужден был поступить домашним наставником в семью маркиза де Сокура, а в 1684 г. был рекомендован в дом принца Конде, знаменитого полководца и вельможи, в качестве воспитателя его внука. По окончании срока обучения (в 1686 г.) он остался в доме Конде на должности библиотекаря. Пребывание в семействе Конде было для него тягостным — об этом красноречиво свидетельствуют некоторые высказывания в «Характерах». Вместе с тем жизнь в среде высшей знати, близкой ко двору, расширила опыт Лабрюйера, обогатила его многими наблюдениями, которые он в обобщенной форме выразил в своей книге. «Характеры, или Нравы нынешнего века» вышли первым изданием в марте 1688 г. в качестве скромного приложения к переводу «Характеров» греческого философа и моралиста IV в. до н. э., ученика Аристотеля, Теофраста. Текст Лабрюйера содержал всего 418 характеристик. Успех книги потребовал неоднократных переизданий. При жизни Лабрюйера книга издавалась девять раз, не считая пиратских перепечаток. От издания к изданию Лабрюйер расширял свой труд, который в окончательном виде содержит 1120 характеристик. В 1693 г. Лабрюйер был избран в Французскую академию. В разгоревшемся в 1687 г. «Споре

древних и новых» он, единственный из писателей своего поколения, примкнул к сторонникам «древних» (к Буало, Расину и Лафонтену). Об этом свидетельствует, в частности, его ориентация на античный жанровый образец, которой придерживались упомянутые литераторы. Отголоски этой напумевшей дискуссии, едва не помешавшей его избранию в Академию (сторонники «новых» голосовали против него), мы находим в «Характерах». Лабрюйер умер в 1696 г. Книга его сразу же заняла прочное место в национальной классической литературе и сохраняла свое значение на протяжении последующих веков. Настоящий перевод печатается в извлечениях.

### ИЗ «ХАРАКТЕРОВ, ИЛИ НРАВОВ НЫНЕШНЕГО ВЕКА»

С. 267. *...редкостным собранием благоглупостей.*— Имеется в виду Пьер Понсе де ла Ривьер (1600—1681), старейшина государственных советников, намечавшийся на пост первого президента Парижского парламента (суда). В 1677 г. выпустил книгу «О преимуществах старости».

С. 268. *... в которых посредственность невыносима...*— Аналогичное высказывание имеется у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XVII) со ссылкой на «Науку поэзии» Горация (ст. 372—373) и у Буало в «Поэтическом искусстве» (IV, ст. 31—32).

С. 269. *...и люди правы, когда спорят о них.*— Полемическое отрицание латинской поговорки «О вкусах не спорят» характерно для нормативных принципов эстетики классицизма.

*...или эти великие люди — своим историкам.*— Выдвинутая в эпоху гуманизма мысль о том, что только поэзия способна увековечить подвиг героев, дополняется у Лабрюйера ее «зеркальным» отражением, характерным для структуры афоризма.

С. 270. *...мы восстаем против наших учителей...*— Речь идет о «Споре древних и новых», развернувшемся после выступления в 1687 г. во Французской академии Шарля Перро (1728—1803). Весь фрагмент направлен против «новых» — Перро и Фонтенеля (1657—1757), выступившего в 1688 г. с «Свободным рассуждением о древних и новых писателях».

С. 272. *Теокрин.* — Подразумевается аббат Луи Данжо (1643—1723), грамматист и член Академии, брат влиятельного придворного — маркиза Данжо.

С. 274. *...тщетно пытавшихся ее уничтожить...* — Трагедия Пьера Корнеля (1606—1684) «Сид» (1637) вызвала неудовольствие кардинала Ришелье, потребовавшего, чтобы Французская академия осудила ее. О расхождении между официальной критикой и восторженной реакцией публики писал Буало в IX Сатире. Лабрюйер, отдавая должное таланту Корнеля, тем не менее неожиданно высоко оценивает резко критическое «Мнение Французской академии о трагикомедии «Сид», составленное в 1638 г. секретарем Академии Шапленом в духе указаний Ришелье. Такая позиция Лабрюйера объяснялась расстановкой сил в «Споре древних и новых»: младший брат Корнеля Тома Корнель и племянник обоих братьев Бернар де Фонтенель (оба члена Академии в 1680-е годы) выступили на стороне «новых». К партии «древних» принадлежали Расин и Буало.

*Крамюази* — семья известных типографов и издателей.

С. 275. *Бальзак Жан Луи Гез де* (1594—1654) — писатель, автор сочинений на политические и литературные темы. *Вуатюр Венсан* (1598—1648) — поэт, пользовавшийся большой популярностью и авторитетом в прециозных салонах. Связывая обоих авторов с «женской» культурой их эпохи, Лабрюйер отчасти предвещает острую полемику, разгоревшуюся между Буало и Шарлем Перро в ходе «Спора древних и новых»: Буало, занимавший неизменно непримиримую позицию по отношению к прециозной салонной культуре, выразил ее в X Сатире (1692), Перро же выступил в защиту этой культуры.

С. 276. *Единственный недостаток Теренция... Единственный недостаток Мольера...* — Публий Теренций (ок. 190—159 до н. э.) — римский комедиограф. В эпоху классицизма его пьесы считались образцом высокой комедии нравов. Лабрюйер, следуя критической оценке Буало («Поэтическое искусство», III), ставит Мольеру в вину отступление от этого образца.

*Один из них...* — Имеется в виду теоретик янсенизма Пьер Николь (1629—1695), другой — философ Никола Мальбранш (1638—1715).

*Г. Г.* — Подразумевается журнал «Галантный Мерку-

рий» (у Лабрюйера римское имя бога заменено греческим — Гермес). Издавался с 1672 г. при участии литературных противников Лабрюйера из лагеря «новых» — Тома Корнеля и Фонтенеля.

С. 277. *...освистывает все остальное.*— Намек на провал «Федры» Расина (1677), инспирированный его влиятельными недругами — герцогиней Бульонской и герцогом Неверским.

С. 280. *...тем скучнее и бесцветней окажется пьеса.*— Намек на комедии известного актера Мишеля Барона (1653—1729).

*Там, где Корнель хорош...*— Весь обширный фрагмент очень точно определяет разницу между двумя великими трагическими поэтами. Сопоставительный анализ Лабрюйера сохраняет свою силу вплоть до наших дней и нередко приводится в работах, посвященных этим авторам. Примечательно, что фраза «Один рисует людей, какими им следует быть, и т. д.» дословно повторяет сопоставление Софокла и Еврипида в «Поэтике» Аристотеля. Современники Лабрюйера не раз сравнивали Корнеля с Софоклом, Расина с Еврипидом.

С. 281. «Сид».— См. примеч. к с. 274. «Полиевкт» (1643) и «Гораций» (1640) представляют вершину классической трагедии в творчестве Корнеля. *Митридат* — герой одноименной трагедии Расина (1673); *Пор* — персонаж его ранней трагедии «Александр Великий» (1665); *Бурр* — персонаж трагедии «Британик» (1669).

С. 283. *...нечего делать в сатире...*— Возможно, Лабрюйер имел в виду Буало как наиболее выдающегося поэта-сатирика своего времени. Однако его высказывание можно понимать и в более общем смысле — как намек на скованность цензурой любого сатирического жанра, в том числе и комедии.

С. 284. *Депрео* — вторая фамилия Буало, которой чаще называли его современники. Здесь Лабрюйер отчасти перекликается с Монтенем («Опыты», кн. I, гл. XXVI). Этот заключительный афоризм образует вместе с первым как бы рамку всей главы.

С. 290. *...они сами составляют весь свой род.*— Критики XVIII в. считали, что Лабрюйер имел в виду кардинала Ришелье.

*В. — живописец...*— Имеется в виду Клод Франсуа Виньон или один из двух его сыновей, тоже живописцев. *К. — музыкант...*— Речь идет о Паскале Коласе,

ученике Люлли, придворном музыканте. Автор «*Пирама*» — драматург Никола Прадон (1632—1698), печально известный своей неблагоприятной ролью в интриге против «Федры» Расина. Его трагедия «*Пирам и Тисба*» была поставлена в 1674 г. Люлли Жан Батист (1633—1687) — известный композитор, автор опер, пользовавшихся большим успехом. Миньяр Пьер (1610—1695) — художник, ему принадлежат портреты многих знаменитых современников (в частности, Мольера).

С. 291. ...*в назначенные им рамки.*— Сам Лабрюйер никогда не был женат.

С. 293. ...*на антресолях в Лувре...*— то есть в королевском дворце. По-видимому, этот фрагмент был написан до переезда двора в Версаль в 1683 г.

...*благородно только то, что бескорыстно.*— Весь фрагмент написан в духе идей Ларошфуко. Однако последняя фраза допускает оптимистическое умозаключение о возможности бескорыстных мотивов.

С. 298. ...*кого она любит и любит ли вообще...*— почти текстуальное повторение фразы из «Мизантропа» Мольера (д. IV, сд. I) о героине комедии Селимене.

С. 300. ...*исповедник женщины и ее духовный наставник...*— В XVII в. это были разные лица: исповедником был священник, духовным наставником могло быть и светское лицо. Так, Тартюф в одноименной комедии Мольера берет на себя роль духовного наставника в семье Оргона, хотя не принадлежит к духовному сословию.

С. 304. ...*действительно муж госпожи Л.*— Набросанная Лабрюйером картина супружеской жизни, достаточно типичная для французского светского общества, имела реальные прототипы, опознанные еще современниками.

С. 315. ...*что она отвратительна или великолепна.*— Лабрюйер фактически резюмирует здесь реплику комического персонажа — Маркиза из пьесы Мольера «Критика на урок женам»: «Она противна, потому что противна» (сцена 5).

С. 321. ...*существовал кружок...*— Лабрюйер имеет в виду прециозные салоны: до 1650 г. наиболее влиятельным и известным был салон маркизы де Рамбуйе, в последующие годы — писательницы Мадлен Скюдери (1607—1701), автора галантных романов, пользовавшихся большой популярностью. Отрицательное отношение



к туманной вычурности прециозного стиля характерно для последовательно классических позиций Лабрюйера.

С. 324. *Сосий начал с ливреи...*— Современники, предлагавшие «ключ» к «Характерам», называли ряд видных финансистов, выбившихся из лакеев.

*Шампань, встав из-за стола...*— Шампань и Сосий — типовые имена слуг в комедиях XVII в.

С. 327. *Жизнь от...щи.ов...*— Лабрюйер во всех случаях обозначает откупщиков сокращенной комбинацией букв, вполне прозрачной для современников.

С. 337. *...если бы это не было сказано до меня.*— Ср. Паскаль. Мысли, 46.

С. 340. *...а иногда и превосходят их.*— Замечание, по-видимому, отражающее личный опыт Лабрюйера в доме Конде.

С. 342. *Фрина и Таис* — ставшие нарицательными имена куртизанок древности.

*...становятся тонкими политиками...*— Вся эта характеристика применима к Жан-Батисту Кольберу (1619—1683), выдающемуся государственному деятелю, министру финансов, пытавшемуся оздоровить французскую экономику. Однако она имеет и более широкий смысл: в административном аппарате Людовика XIV возвысившиеся буржуа занимали значительное место.

С. 345. *У подданных деспота нет родины.*— Эта мысль получила развитие в идеях Монтескье о различных формах правления и нравственных принципах, составляющих их основу.

*О юный Сокур, я печалюсь о твоей доблести...*— Адольф де Бельфорьер, шевалье де Сокур, умер от раны, полученной в сражении в 1690 г. В том же сражении был убит его старший брат.

С. 354. *...и Катону, и Пизону — одна честь.*— Катон Младший Утический (95—46 до н. э.) — республиканец, противник Цезаря, приверженец Помпея. После победы Цезаря над Помпеем покончил с собой, не желая смириться с установлением диктатуры. В новоевропейской литературной и исторической традиции выступает как образец стойкости и верности республиканским идеалам. Пизон (ум. в 65 г. до н. э.) — римский консул, был известен своей корыстью и жестокостью. Оба имени употреблены здесь в нарицательном значении.

С. 357. *...так скоро войдет в моду?* — 1680—1690-е гг.

отмечены возрастающей официозной набожностью и ханжеством, исходившими от королевского двора.

С. 358. *Онуфрий*.— Здесь Лабрюйер дает свой вариант портрета ханжи и лицемера, отчасти полемический по отношению к Тартюфу Мольера. Речь идет не только об ином литературном отражении того же социального типа, но и о его реальной трансформации за четверть века, отделяющую комедию Мольера от «Характеров» Лабрюйера.

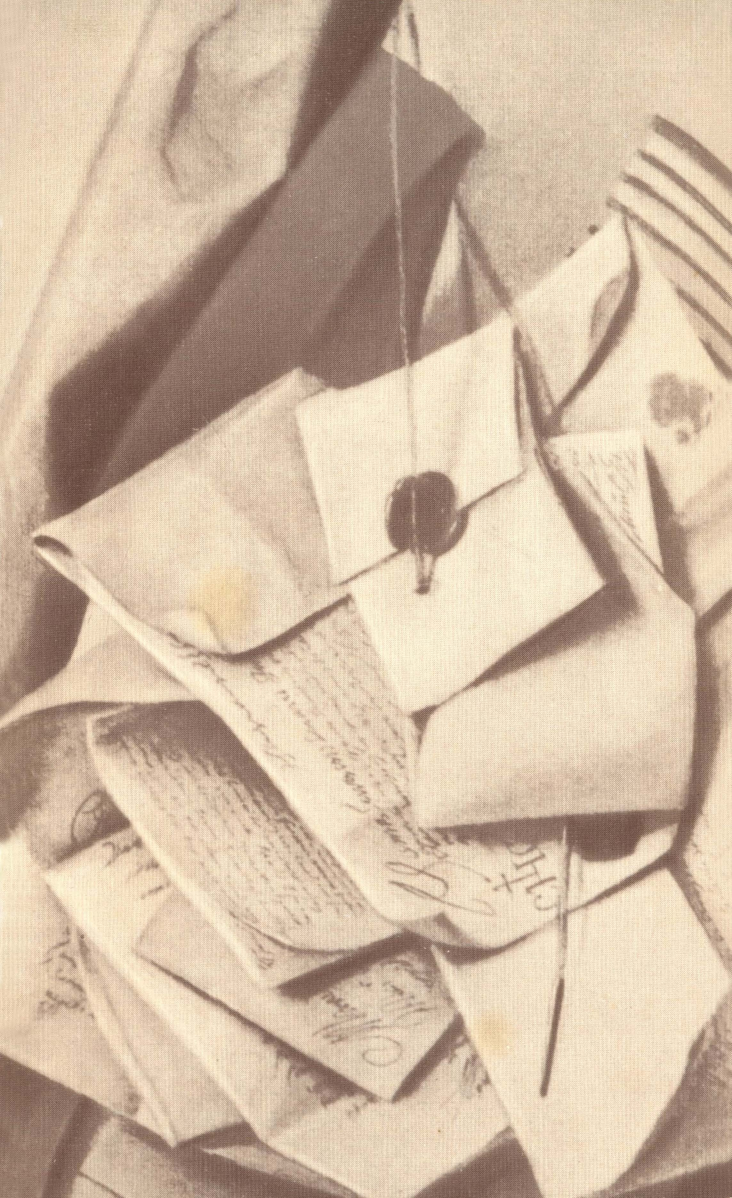
...«*моя власяница*»...— первые слова Тартюфа при его появлении на сцене.

«*Духовная борьба*» — книга, приписываемая итальянскому богослову Лоренцо Скуполи; в XVII в. неоднократно переводилась на французский язык.

«*Христианский дух*» — сочинение Жана де Берньер-Лувињи (1661).

«*Святой год*» — название двух книг — отца Бордые (1668) и аббата Луазеля (1678).

С. 363. ...*обет бедности в богатом монастыре!* — Отмененные в 1667 г. крупные взносы при вступлении девушек в монастырь были восстановлены в 1693 г.



2 р. 50 к.

## **ЛИЧНОСТЬ МОРАЛЬ ВОСПИТАНИЕ**

Серия художественных, публицистических  
и научно-популярных изданий

---

Общественных гражданских идеалов... не связанных органически с идеалами нравственными... не существовало никогда, да и не может существовать!

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ**

---

Издательство  
политической литературы  
1990